

ISSN 2686-7494

Два века

РУССКОЙ
ИЖИСКИ

ISSN 2686-7494

ISSN 2686-7494

Журнал включен
в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Два века **Two centuries**
русской классики **of the Russian classics**
[Dva veka russkoi klassiki]

Научный журнал Academic Journal
Выходит с 2019 года Is published since 2019

2023 Том 5 № 2 2023 Volume 5 No. 2

Учредитель и издатель: Founder and publisher:
Институт A. M. Gorky
мировой литературы Institute
им. А. М. Горького of World Literature
Российской of the Russian
академии наук Academy of Science

Два века
РУССКОЙ
КЛАССИКИ

Редакционная коллегия журнала «Два века русской классики»



Главный редактор

Шербакова Марина Ивановна (Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук, г. Москва, Россия)

Заместитель главного редактора

Виноградов Игорь Алексеевич (Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук, г. Москва, Россия)

Заместитель главного редактора

Андреева Валерия Геннадьевна (Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук, г. Москва, Россия)

Редакционная коллегия

Гулин Александр Вадимович (Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук, г. Москва, Россия), Гуминский Виктор Мирославович (Институт
мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, г. Москва, Россия),
Ивинский Александр Дмитриевич (Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук, г. Москва, Россия), Троицкий Всеволод Юрьевич
(независимый исследователь, г. Москва, Россия), Воропаев Владимир Алексеевич
(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия),
Генералова Наталья Петровна (Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Российской академии наук, г. Санкт-Петербург, Россия), Захаров Владимир Николаевич
(Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск, Российский фонд
фундаментальных исследований, г. Москва, Россия), Коровин Владимир Леонидович
(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия),
Лебедев Юрий Владимирович (Костромской государственный университет, г. Кострома,
Россия), Михайлова Наталья Ивановна (Государственный музей А. С. Пушкина, г. Москва,
Россия), Мосалева Галина Владимировна (Удмуртский государственный университет,
г. Ижевск, Россия), Николаева Евгения Васильевна (Московский педагогический
государственный университет, г. Москва, Россия), Николаева Светлана Юрьевна (Тверской
государственный университет, г. Тверь, Россия), Федоров Алексей Владимирович
(издательство «Русское слово», г. Москва, Россия), Чернышева Елена Геннадьевна
(Московский педагогический государственный университет, г. Москва, Россия)

Международный редакционный совет

Авидзба Василий Шамониевич (научно-исследовательский центр «Абхазская
энциклопедия», г. Сухум, Абхазия), Гини Джузеппе (Университет им. Карло Бо, г. Урбино,
Италия), Донсков Андрей Александрович (Славянская исследовательская группа при
университете Оттавы, г. Оттава, Канада), Кавачца Антонелла (Университет им. Карло Бо,
г. Урбино, Италия), Луцевич Людмила Федоровна (Варшавский университет,
г. Варшава, Польша), Олджай Тюркан (Стамбульский университет, г. Стамбул, Турция),
Саверченко Иван Васильевич («Институт литературоведения им. Янки Купалы»
Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, Беларусь),
Рафаэль Гусман Тирадо (г. Гранада, Испания)

The editorial board of the journal “Two centuries of the Russian classics”



Editor-in-Chief

Marina I. Shcherbakova (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)

Deputy Editor-in-Chief

Igor' A. Vinogradov (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)

Deputy Editor-in-Chief

Valeria G. Andreeva (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)

Editorial Board

Alexander V. Gulin (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia),
Victor M. Guminsky (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia),
Alexander D. Ivinsky (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia),
Vsevolod Yu. Troitsky (Independent Researcher, Moscow, Russia),
Vladimir A. Voropayev (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia),
Natalya P. Generalova (Institute of Russian Literature (The Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia),
Vladimir N. Zakharov (Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russian Foundation for Basic Research, Moscow, Russia),
Vladimir L. Korovin (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia),
Yuriy V. Lebedev (Kostroma State University, Kostroma, Russia),
Natalya I. Mikhaylova (State Museum of A. S. Pushkin, Moscow, Russia),
Galina V. Mosaleva (Udmurt State University, Izhevsk, Russia),
Evgenia V. Nikolaeva (Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia),
Svetlana Yu. Nikolaeva (Tver State University, Tver, Russia),
Alexey V. Fedorov (Russian Word publishing house, Moscow, Russia),
Elena G. Chernysheva (Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia)

International Editorial Council

Vasily Sh. Avidzba (Abkhazian Encyclopedia Research center, Sukhum, Abkhazia),
Giuseppe Genya (University of Carlo Bo, Urbino, Italy),
Andrey A. Donskov (Slavic Research Group at the University of Ottawa, Ottawa, Canada),
Antonella Kavazza (University of Carlo Bo, Urbino, Italy),
Lyudmila F Lutsevich (Warsaw University, Warsaw, Poland),
Oldzhay Tyurkan (Istanbul University, Istanbul, Turkey),
Ivan V. Saverchenko (Institute of Literary Criticism of Janka Kupala of National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus),
Raphael G. Tirado (Granada, Spain)

Содержание

Русская литература XVIII–XIX столетий

- 6 Сапченко Л. А.** Чувствительный автор и строгий историк в очерке Н. М. Карамзина «О московском мятеже в царствование Алексея Михайловича»
- 24 Кафанова О. Б.** Первый образец «толстого журнала» в России: к 220-летию со времени издания «Вестника Европы» Н. М. Карамзина
- 50 Федорова Е. А., Любарец В. В.** Мечтатель и Подпольный герой М. Ю. Лермонтова и Ф. М. Достоевского в свете этического учения А. А. Ухтомского

Текстология. Источниковедение

- 72 Ивинский А. Д.** «Всякая всячина», Третьяковский и «Фенелон»
- 90 Щербакова М. И.** Севастопольские рассказы Л. Н. Толстого как документ эпохи
- 104 Мокина Н. В.** Ф. М. Достоевский и А. Н. Островский: к проблеме литературных источников характеров и коллизий в драме «Бесприданница»

Научная жизнь

- 122 Федотова А. А.** К вопросу о феномене эпического романа: новая монография о русской классической литературе
- 132 Тихомиров В. В.** Новая книга о творческом наследии Ф. М. Достоевского в восприятии его современников
- 142 Стерликова С. А.** Итоги XVIII Весенних Толстовских чтений

К 90-летию со дня рождения Петра Васильевича Палиевского

- 154** Материалы круглого стола памяти П. В. Палиевского
- 156 Гуминский В. М.** Из воспоминаний о П. В. Палиевском
- 168 Гулин А. В.** Время Палиевского
- 182 Афанасьев И. Н.** Соловьёв перевоз Петра Палиевского, или Жизнь и смерть идей в диалогах о войне и мире
- 198 Ковалева Г. Н.** П. В. Палиевский — мой первый читатель

Contents

Russian Literature of the 18th–19th Centuries

- 6 **Liubov A. Sapchenko.** A Sensitive Author and a Strict Historian in the Essay by N. M. Karamzin “On the Moscow Rebellion in the Reign of Alexei Mikhailovich”
- 24 **Olga B. Kafanova.** The First “Thick” Journal in Russia: To the 220th Anniversary of Nikolay Karamzin’s “Vestnik Evropy”
- 50 **Elena A. Fedorova, Victoria V. Liubarets.** The Dreamer and the Underground Hero of M. Yu. Lermontov and F. M. Dostoevsky in the Light of the Ethical Teachings of A. A. Ukhtomsky

Textual Criticism. Source Study

- 72 **Alexander D. Ivinskiy.** “All Sorts of Things,” Trediakovsky and “Fenelon”
- 90 **Marina I. Shcherbakova.** Sevastopol Stories by L. N. Tolstoy as a Document of the Epoch
- 104 **Natalia V. Mokina.** F. M. Dostoevsky and A. N. Ostrovsky: To the Problem of Literary Sources of Characters and Collisions in the Drama “Without a Dowry”

Scientific Life

- 122 **Anna A. Fedotova.** On the Phenomenon of the Epic Novel: A New Monograph on Russian Classical Literature
- 132 **Vladimir V. Tikhomirov.** A New Book about the Creative Heritage of F. M. Dostoevsky in the Perception of his Contemporaries
- 142 **Sofianina A. Sterlikova.** Results of the XVIII Spring Tolstoy Readings

To the 90th Birthday of Pyotr Vasilievich Palievsky

- 154 Materials of the Round Table in Memory of P. V. Palievsky
- 156 **Viktor M. Guminskiy.** From the Memoirs of P. V. Palievskiy
- 168 **Alexander V. Gulin.** Time of Palievsky
- 182 **Ivan N. Afanasyev.** Solovyovo Crossing of Peter Palievsky, or Life and Death of Ideas in Dialogues about War and Peace
- 198 **Galina N. Kovaleva.** P. V. Palievsky as My First Reader

© 2023. Л. А. Сапченко

Ульяновский государственный педагогический университет
имени И. Н. Ульянова
г. Ульяновск, Россия

Чувствительный автор и строгий историк в очерке Н. М. Карамзина «О московском мятеже в царствование Алексея Михайловича»

Аннотация: В статье предпринято исследование исторических очерков Карамзина, опубликованных в «Вестнике Европы» (1802–1803) и представляющих различные модификации образа историка («умный историк», «робкий историк», «беспристрастный историк», «легкомысленный историк», «строгий историк» и др.). Обращение к очерку «О Московском мятеже в царствование Алексея Михайловича» позволяет автору статьи утверждать, что в преддверии написания своего исторического труда Карамзин создает образ чуждого лести и опирающегося только на достоверные свидетельства Русского Историка-патриота, чье слово звучит как неподкупный голос истины не только в фактологическом смысле, но и в государственно-патриотическом. По наблюдениям исследователя, в анализируемом очерке доминирует точка зрения «строгого историка», оценивающего деятельность правителя с позиции общегосударственных интересов («государственной нравственности»), что не совпадает с восприятием событий чувствительным автором и знаменует важный рубеж в идейной эволюции Карамзина.

Ключевые слова: Н. М. Карамзин, история России, образ историка, мироощущение, самоидентификация, познание, истина, государство, император.

Информация об авторе: Любовь Александровна Сапченко, доктор филологических наук, профессор, кафедра русского языка, литературы и журналистики, Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова, площадь Ленина, д. 4/5, 432071 г. Ульяновск, Россия.

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7982-0893>

E-mail: ssj-sla@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 16.02.2023

Дата одобрения статьи рецензентами: 30.03.2023

Дата публикации статьи: 25.06.2023

Для цитирования: Сапченко Л. А. Чувствительный автор и строгий историк в очерке Н. М. Карамзина «О московском мятеже в царствование Алексея Михайловича» // Два века русской классики. 2023. Т. 5, № 2. С. 6–23. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-6-23>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 6–23. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 6–23. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2023 Liubov A. Sapchenko

Ulyanovsk State University of Education
Ulyanovsk, Russia

A Sensitive Author and a Strict Historian in the Essay by N. M. Karamzin “On the Moscow Rebellion in the Reign of Alexei Mikhailovich”

Abstract: The article undertakes a study of Karamzin’s historical essays published in the “Vestnik Evropy” (1802–1803) and representing various modifications of the image of a historian (“smart historian,” “timid historian,” “impartial historian,” “frivolous historian,” “strict historian” and etc.). Referring to the essay “On the Moscow Rebellion in the reign of Alexei Mikhailovich” allows the author of the article to assert that on the eve of writing his historical work, Karamzin creates an image of an alien flattery and relying only on reliable evidence of the Russian Patriot Historian, whose word sounds like an incorruptible voice of truth not only in factological sense, but also in the state-patriotic one. According to the researcher’s observations, the analyzed essay is dominated by the point of view of a “strict historian,” who evaluates the activities of the ruler from the standpoint of national interests (“state morality”), which does not coincide with the perception of events by a sensitive author and marks an important milestone in Karamzin’s ideological evolution.

Keywords: N. M. Karamzin, history of Russia, image of a historian, attitude, self-identification, knowledge, truth, state, emperor.

Information about the author: Liubov A. Sapchenko, DSc in Philology, Professor, Department of Russian Language, Literature and Journalism, Ulyanovsk State University of Education, 4/5 Lenin Sq., 432071 Ulyanovsk, Russia.

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7982-0893>

E-mail: ssj-sla@mail.ru

Received: February 16, 2023

Approved after reviewing: March 30, 2023

Published: June 25, 2023

For citation: Sapchenko, L. A. “A Sensitive Author and a Strict Historian in the Essay by N. M. Karamzin ‘On the Moscow Rebellion in the Reign of Alexei Mikhailovich.’” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 6–23. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-6-23>

Читателям Карамзина до сих пор кажется парадоксальным превращение русского путешественника и автора чувствительных повестей в историка государства Российского. На самом деле ничего неожиданного здесь нет. Карамзин испытывал постоянный интерес к истории развития человечества. Многообразное в жанровом отношении карамзинское наследие может быть подведено под общий знаменатель: всё, о чем он пишет, охвачено взглядом историка. История народов является важной тематической и концептуальной составляющей «Писем русского путешественника»; исторический дискурс присутствует и в «Бедной Лизе», и в «Наталье боярской дочери», где сразу же проявляется принцип работы будущего российского историографа: оживлять события минувшего творческим воображением. Однако цель писателя, как считает Карамзин, — сказать правду о прошлом и настоящем, постигнуть действительную жизнь, а не уйти в страну воображения.

Разочаровавшись в поэзии как «чародействе красных вымыслов», вводящих от реальности, Карамзин переходит к «существенности», к обобщающему уразумению всего того, что волнует мыслящего человека, с надеждой обрести истину в познании человеческой истории.

Если формированию исторической концепции Карамзина, принципам его работы посвящено немало исследований [Всеобщая история], [Маджаров], [Свердлов], то его самоосмысление, самоидентификация, его определение себя как историка еще не стало предметом специального исследования.

Поиски самоопределения были свойственны писателю еще до того, как он решил стать российским историографом. В «Похвальном слова Екатерине» (1802) Карамзин предстает, по его собственным словам, как оратор, зритель, патриот, историк, глашатай истины, поэт, истинный российский дворянин, политик.

Его видение образа собственно историка менялось с течением времени. Целостное представление о нем складывался у Карамзина по-

степенно, по мере прохождения через противно- и сопоставление различных подходов к истории и через осознание роли историка в судьбе государства. В течение всей творческой жизни Карамзина в нем шел процесс познания самого себя как дееспособного и гражданина.

Так, в одах Карамзина, посвященных русским императорам и императрицам, рядом с главой государства находится автор, который становится одним из героев произведения. Он предстает и как поэт, и как историк, причем оба они — питомцы муз. В «Оде на случай присяги московских жителей его императорскому величеству Павлу Первому, самодержцу всероссийскому» (1796) читаем:

Кто, чувством сердца вдохновенный,
Усердьем к трону восхищенный,
Гремит народу: «Царь отец!»
Гремит, и в сердце проникает,
Гремит, и слезы извлекает?
Питомец нежный муз — певец.

Кто память добрых сохраняет,
С потомством дальним заключает
Монархов дружеский союз?
Историк: он питомец муз [Карамзин 1966: 186–187].

В стихотворениях 1801 г.: «Его императорскому величеству Александру I, самодержцу Всероссийскому на восшествие Его на престол» и «На торжественное коронование его императорского величества Александра I, самодержца Всероссийского» — также присутствует образ вдохновенного Поэта, правдиво и свободно воспевающего «Друзей добра нелицемерных, / Могущих истину сказать!» [Карамзин 1966: 264] и честного Историка, обеспечивающего связь времен и провозглашающего единство царя и народа. Поэта и историка объединяет способность видеть истину и смелость говорить правду властителям, влиять на высшие сферы.

Спектр образов историка (достоверный историк, вдохновенный историк) отчасти представлен также в карамзинском «Пантеоне российских авторов» (1802) и других его сочинениях. Чисто информативные, казалось бы, статьи «Пантеона» соприкасаются на деле с некими

субстанциональными для Карамзина проблемами: 1) как совместить беспристрастный способ изложения исторических сведений с соображениями самого историка; и 2) кто или что определяет исторические судьбы народов. Здесь соединяются звенья «цепи существ»: Бог — Государь — Историк. К этой триаде Карамзин не раз обращался в своих сочинениях. Как творца истории он мыслил и историка, поскольку именно через него народ узнает свою историю и осознает сам себя.

В очерке «Исторические воспоминания, вместе с другими замечаниями на пути к Троице и в сем монастыре» (1802) Карамзин отметил: «История в некоторых летах занимает нас гораздо более романов; для зрелого ума истина имеет особую прелесть, которой нет в вымыслах» [Карамзин 1802: 46]. Пренебрежение к отечественной истории, считает Карамзин, уводит человека от истинных ценностей и замыкает его в суетной повседневности.

Художественное произведение может быть «зеркалом окружающих предметов», но приблизиться к пониманию истины могла лишь человеческая история, понимаемая Карамзиным как осуществление «плана Провидения». Не литература и не критика, и даже не философия — лишь история, как полагал Карамзин, могла дать истинное знание о настоящем и будущем человечества.

28 сентября 1803 г. Карамзин обратился к М. Н. Муравьеву с просьбой сообщить государю о своем «ревностном желании написать историю, не варварскую и не постыдную для его царствования» [Карамзин 1845: 2]. Готовясь к этому, Карамзин в течение 1801, 1802 и 1803 гг. опубликовал в «Вестнике Европы» ряд материалов на историческую тему.

1802 г.: Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице и в сем монастыре (1802, № 15, 16); О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств (1802, № 24);

1803 г.: Марфа-Посадница, или Покорение Новгорода (1803, № 1, 2, 3); Путешествие вокруг Москвы (1803, № 4); О тайной Канцелярии (1803, № 6); Известие о Марфе-Посаднице, взятое из жития Св. Зосимы (1803, № 12); Записки старого Московского жителя (1803, № 16); О Московском мятеже в царствование Алексея Михайловича (1803, № 18); Русская Старина (1803, № 20, 21) и др.

Все они свидетельствуют о том, что перед Карамзиным прямо встал вопрос: каким должен быть историк государства Российского. Если в «Письмах русского путешественника» образ историка еще не явля-

ется ключевым и упоминается в основном безоценочно, то в статьях «Вестника...» различные модификации этого образа представлены в очевидной авторской оценке: «умный историк», «робкий историк», «беспристрастный историк», «легкомысленный историк», «красноречивый историк», «просвещенный историк» и др. Карамзин в это время всерьез занят целями и возможностями познающего субъекта, его индивидуальными особенностями, проблемой его взаимодействия с объектом познания. Учет и анализ отмеченных разновидностей позволяет понять специфику выбора Карамзиным собственной позиции, реконструировать его представление о том, каким прежде всего должен быть историк и какова его миссия.

Вопрос, однако, осложняется тем, что выбранные Карамзиным основания для упомянутых дефиниций различаются между собой.

В качестве принципа классификации могут выступить личностные свойства субъекта познания, т. е. его способности, дарования, но также и его понимание цели обращения к истории, познавательный метод, нравственные установки. Будущий историограф государства Российского ищет свою позицию, принимает или отменяет те или иные варианты образа историка, уже имея в себе, безусловно, определяющие идеи. Стремление к точной и доказательной реконструкции прошлого, критический анализ источников служат лишь средством к достижению главной цели: через осмысление истории Российского государства воспитать в гражданах любовь к отечеству и народную гордость. Изучение истории должно способствовать познанию истины.

Нераздельность истории и правды была аксиомой для Карамзина, но истина для него заключалась не только в правдивости и достоверности описаний, но и в любви к России, в способности постигать в ее судьбе волю и «план Провидения».

В публикациях «Вестника Европы» Карамзин осмысляет свое собственное обличье. Здесь он не только классифицирует различные образы историка, их возможные модификации, но и пытается идентифицировать сам себя, что выражается в соответствующих словесных определениях.

Разными гранями поворачивается образ историка в «Исторических воспоминаниях и замечаниях на пути к Троице и в сем монастыре» (1802, № 15, 16). *Умный историк* должен рассказывать о событиях и людях минувших лет и об образе мыслей того времени («анекдоты»),

но он обязан также «рассуждать, и сказки отличать от истины» [Карамзин 1986: 300]. *Робкий историк*, «боясь заслужить имя дерзкого», без критики повторяет летописи, боится противоречить общепринятому мнению и таким образом «История делается иногда эхом злословия» [Карамзин 1986: 302]. Летописи могут грешить «бессмыслием или враждою». Историк обязан восстановить истину. Карамзин еще не принимает здесь на себя этой ответственности («я пишу теперь не *Историю*» [Карамзин 1986: 302]) и не берется решить вопрос о виновности или невинности Годунова в убийстве Димитрия. *Беспристрастный историк* дает взвешенную оценку Бориса Годунова, различая то, что можно осудить в царе Борисе, а что достойно признательности [Карамзин 1986: 306–307].

В «Известии о Марфе-Посаднице, взятом из жития Св. Зосимы» (1803) упомянуты «философ-историк», «умный живописец-автор», «сочинитель» исторических портретов, имеющий «талант и вкус». При этом автор проявляет себя и как профессионал, понимающий ценность уникального исторического источника: «...Зосима получил от совета новгородского грамоту на *владение островом*, с приложением осьми оловянных печатей: архиепископской, посадничей, *тысященачальнической и пяти концов города*. Если сия грамота донныне сохранилась в архиве Соловецкого монастыря, то она должна быть драгоценна для историка России, который может найти в ней имена последних народных чиновников новгородских: ибо, скоро по возвращении угодника в Соловецкую обитель, князь Иван Васильевич объявил войну сей республике и навеки уничтожил ее» [Карамзин 1984: 164].

Стоит отметить, что в повести «Марфа Посадница» (1803) беспристрастный историк России уступает место чувствительному автору («республиканцу в душе» [Карамзин 1897: 60]), и обнаруживает явную симпатию к древней Новгородской вольнице, хотя этому противостоит суровая необходимость ее подчинения монарху во имя государственной пользы.

При этом в «Известии о Марфе-Посаднице...» противопоставлены друг другу «историк-философ», которому политика вряд ли позволит в наше время «свободно и торжественно судить царствования Анны и Елисаветы»; и «умный живописец-автор», который «может в легких чертах представить их личные характеры с хорошей стороны и без леги» [Карамзин 1984: 165]. В «Известии...», кроме того, появился образ

скрупулезного исследователя, вооруженного «микроскопом исторической строгости»¹.

В тексте «Известия о Марфе-посаднице...» можно встретить также перифрастическое самописание историка: это «ум внимательный, одаренный *историческою догадкою*», который «может дополнять недостатки соображением» [Карамзин 1984: 164].

В «Известии о Марфе...» упомянут еще «благоразумный автор», который в рассуждении древности ... ограничит себя Нестором...» [Карамзин 1984: 164], т. е. не будет писать о том, что не подкреплено документальными источниками. Поэтому в очерке «О московском мятеже в царствование Алексея Михайловича» (1803) Карамзин в самом начале отмечает следующее: «В этой пьесе нет ни одной черты, которая не была бы исторической в строжайшем смысле. Автор от слова до слова повторяет здесь известия чужестранцев, бывших очевидными свидетелями происшествия» [Карамзин 1803: 134]. *Благоразумный и строгий* историк здесь идентичны историку достоверному, опирающемуся только на документальные источники.

Личные качества историка, называемые сегодня в информационных системах, это: склонность к гуманитарным наукам, аналитический склад ума, хорошая память на даты, факты, имена и события, усидчивость, готовность к рутинной работе. Поразительно, но в этом списке отсутствует *честность* — то качество историка, которое Карамзин считал главным и которое дважды повторил Пушкин, называя карамзинскую «Историю...» «подвигом честного человека» (записка «О народном воспитании» и «Отрывки из писем, мысли и замечания») [Пушкин 1949: 47]

Карамзин постоянно возвращается к мысли о честности историка, не принимая утаивания истины или избирательного к ней отношения: «Летописцы наши не Тациты: не судили государей; рассказывали не все дела их, а только блестящие: воинские успехи, знаки набожности и проч.» [Карамзин 1986: 271] («О тайной канцелярии»). Сущность исто-

¹ «Новейшая русская история имеет также своих знаменитых женщин; напомним из них Наталью Кирилловну, дочь бедного дворянина, и царицу России, и мать Петра Великого, в девическом уединенном тереме и в царских чертогах равно смиренную, кроткую, добродетельную, так что никакой *микроскоп исторической строгости* не открывает в ее жизни ни малейшего пятна» (Курсив мой. — Л. С.) [Карамзин 1984: 165].

рического познания была для Карамзина не только гносеологической, но и морально-этической проблемой. Без полной правды нет истории. О том же говорится в карамзинской «Записке о печатании “Истории” без цензуры»: «... быть может, что цензоры не позволят мне, например, говорить свободно о жестокости царя Ивана Васильевича. В таком случае, что будет история?» (14 октября 1816 г.) [Карамзин 1899: 234].

Очерк «О московском мятеже в царствование Алексея Михайловича» примечателен тем, что здесь Карамзин создает образ чуждого легионера Русского Историка, беспристрастного судьи царя, истинного гражданина, но при этом сторонника твердой власти: «Русский историк, с умилением прославив добродушие монарха, заметит, что оно перешло за границы государственного блага, которое в таких несчастных обстоятельствах утверждается более непоколебимым мужеством власти, нежели ея снисхождением. Народ слеп и безрассуден: решительностию Правителей он должен быть сам от себя спасаем» [Карамзин 1803: 135]. Вывод автора, в общем-то, недвусмыслен: «Мудрая верховная власть может быть снисходительною, но никогда не требует снисхождения: она прощает, но не просит — и благодарность должна быть чувством подданных, а не монарха» [Карамзин 1803: 142].

Ослабление монархической власти, по Карамзину, лишь утяжеляет «участь народа и гнет несправедливости. Уничтожение олигархии успокоило мятеж. “С этого времени царь Алексей Михайлович начал царствовать сам собою”» [Лотман 1987: 285].

Между тем суровому приговору историка, указавшего на опасность мягкосердечного правления, противостоит в статье другая точка зрения¹. Это «пленительная мысль» [Карамзин 1803: 142] писателя и человека, способного почувствовать «пылкую, юную душу» [Карамзин 1803: 141] царя, оценить его искренность и доверие к народу, понять его единственное желание — быть отцом народа и жить лишь для его счастья.

«Историк строгим саном своим обязан казаться иногда жестокосердным, и должен осуждать то, что ему как человеку любезно, но что бывает

¹ И. А. Гурвич отмечает, что «несогласия, раздвоение мысли — это, в сущности, типологический показатель всей художественно-прозаической системы Карамзина, это ее устойчивая черта...» [Гурвич 1987: 22].

вредным в правлении, ибо люди не Ангелы! Отирая сладкие слезы свои, он скажет, что здравая политика, основанная на опытах и знании человечества, предписывала Царю Алексею Михайловичу совсем иные способы утешить мятеж...» [Карамзин 1803: 142].

Строгость историка понимается здесь не только как уровень его профессионализма, исследовательской безупречности его труда, подразумевается не только достижение выверенного знания. «Строгость» имеет в этом случае иной смысл: строгим историк должен быть по отношению к правителю, если тот своим мягкосердечием вредит интересам государства. В качестве доказательства своей правоты *строгий Историк* замечает, что «ужасный бунт» и «лютое исступление» народа происходят в царствование «государя доброго, милосердного, народолюбивого», тогда как «ужасы времен Царя Ивана Васильевича» народ «смирненно» и «великодушно» терпел [Карамзин 1803: 120].

Другими словами, созданный в очерке образ историка-гражданина не тождествен автору-человеку. Еще в «Похвальном слове Екатерине I» Карамзин замечал, что «Правило народов и Государей не есть правило частных людей» [Карамзин 1848: 282]. Именно в это время Карамзин вырабатывает само понятие «государственной нравственности». В его сочинениях происходит переоценка чувствительности: она осмысливается как противоположность нравственности. Мягкости предпочитается твердость — условие порядка и стабильности¹.

Восприятие событий чувствительным автором не совпадает с точкой зрения сурового «Историка России», который может «казаться» жестокосердным, но который трезво осознает, в чем состоит «госу-

¹ Поиски образа историка в «Вестнике Европы» шли параллельно с поисками образа идеального правителя. Карамзин публикует в журнале политические обозрения современности, постоянно обращаясь к наполеоновской теме. Карамзин поначалу видел в Наполеоне силу упорядочивающую, противостоящую беспорядкам и кровопролитию. Как пишет Ю. М. Лотман, «весь материал “Вестника” строго организован вокруг двух идеальных центров: положительного образа государственного мужа — практика, твердо направляющего к общему благу легкомысленных и эгоистичных людей <...>, и гибельного образа мечтателя на престоле, самые добрые намерения которого обращаются во вред государству» [Лотман 1987: 282].

дарственное благо», в чем была ошибка правителя, и единственной целью своей полагает «благодетельное нравоучение» [Карамзин 1803: 120]. Через очерк проходит мысль о необходимости «мудрого советника» для «мудрого управления государством». Этим советником не мог быть знатный боярин или чиновник, так как просьбы утесненных (их «челобитные») юный и неопытный царь отдавал, не читая, «на рассмотрение боярам», которые, жертвуя государственным благом ради своих «ничтожных побуждений», не хотели или боялись обличать виновных и «всякую жалобу представляли ему виде ложном» [Карамзин 1803: 128].

По словам В. П. Козлова, «для Карамзина власть аристократии, олигархии, удельных князей и власть народа — это не только две непримиримые, но и враждебные благоденствию государства силы. В самодержавии же, считает он, заключена сила, подчиняющая в интересах государства народ, аристократию и олигархию» [Козлов 1988: 18]. Не чиновники, не бояре, а Историк-гражданин предстает связующим звеном между народом и властью, ибо царь, «отделенный от народа Кремлевскую стеною, не знал, что делается за нею, и не слышал народного вопля» [Карамзин 1803: 126].

Историк России должен быть не просто объективен, он обязан судить о том или ином царствовании масштабно, обращая внимание не только на личность правителя (как чувствительный автор), но и, как строгий историк, на состояние государства в целом (именно так мыслит автор очерка «О московском мятеже...»).

Однако и образ историка в очерке раздваивается. Навеки растроганный «чувствительным сердцем» царя, автор говорит от первого лица о спасении царем Морозова, своего воспитателя, которого толпа была готова растерзать, но прислушалась к царской просьбе:

«Дерзну сказать, что эта минута была едва ли не самую прекраснейшею из тридцатидвухлетнего царствования Алексея Михайловича — <...> Одна пылкая, юная душа могла так отважно поручить народу свое драгоценное спокойствие! Жить единственно для счастья подданных, быть истинным отцом народным — сии обеты, подтвержденные царем в минуту живейшего чувства признательности, были, конечно, искренни и начертаны во глубине его сердца!.. мысль пленительная!.. Но для чего великая

наука управлять государствами не есть одно с прекрасными движениями чувствительности?..» [Карамзин 1803: 141–142].

И все же в очерке «О московском мятеже...» верх одерживает точка зрения *строгого* историка, однако под строгостью подразумевается здесь не только безупречный профессионализм исследователя, а его верность «государственной нравственности», которая не расходилась у Карамзина с понятием добросовестности и честности.

Карамзин «был апологетом просвещенного абсолютизма, что выразилось в искусном отборе фактов, интерпретации их с определенной политической точки зрения, – пишет В. П. Козлов. – “Уроки” прошлого вплетались в проблемы настоящего, а “История государства Российского” превращалась в публицистический документ, покоящийся на исторических фактах» [Козлов 1988: 20].

В своих политических выступлениях Карамзин пользовался как специалист «историческим материалом и не выходил из роли поучающего, морализующего историка» [Платонов 2006: 261]. Поэтому и в карамзинской публицистике, и в его исторических сочинениях, адресованных юному монарху, чистому и неопытному душой, неизменно сопутствует мудрый, «крепкий духом, непреклонный в советах» пестун, обязанный внушать молодому царю «правила твердой власти» [Карамзин 1998: 280]¹.

Будучи во многом единомышленником Руссо [Сапченко], Карамзин многие годы хранил веру в добрую природу человека, в его нравственное достоинство. Но в ходе дальнейшей эволюции Карамзин приходит к глубочайшему духовному кризису и убеждается в злой природе человека. Отсюда, как пишет Ю. М. Лотман, последовал вывод «о необходимости политики — внешнего, насильственного управления людьми ради их же собственного блага» [Лотман 1966: 46]. Карамзина привлекает внешняя по отношению к человеческой личности сила — государственная власть.

В материалах «Вестника Европы» «за образом доброго, но слабого и неопытного монарха, уступающего власть честолюбивым вельможам,

¹ Российский историограф не раз делал выписки из Руссо о монархии и самодержавии, сводящиеся к тому, что «Les plus actif d'un gouvernement est celui d'un seul» (наиболее действенное правление есть власть одного) [Лыжин 1858: 178].

легко просматривался Александр I» [Лотман 1987: 285]. В отношении к царю у Карамзина опять-таки различествовали чувство и долг («государственная нравственность»). Любя Александра «как человека» [Карамзин 2013: 198], историограф видел обязанность патриота в том, «чтобы в глаза царю критиковать разные стороны его политики» [Лотман 1997: 591]. Образ идеального правителя у Карамзина сочетал в себе не только юношескую силу, решительность, но и способность прислушиваться к мудрым советам. Этим в значительной мере и обуславливается присутствие в анализируемых текстах образа автора как учителя, умудренного наставника, как глашатая истины. Так позиционировал себя сам историограф государства Российского, воплощая это в своей жизненной практике.

Необходимость союза бодрой, пылкой юности и твердой, суровой мужественности доказывается Карамзиным и на других примерах русской истории. Об этом Карамзин будет говорить в записке «О древней и новой России» (1811), обращенной непосредственно к Александру I.

Несводимость автора к какому-то однозначному образу характерна для карамзинского творчества в целом. Множится и образ автора как историка: это «старый московский житель», «любитель истории», «Историк России», «умный историк», «русский патриот», «беспристрастный историк»), но можно всё же заметить, что доминируют два принципа, которым он старался следовать в своей работе: достоверность и патриотизм.

Всё это сказалось в самом его подходе к написанию «Истории государства Российского». Предпринятое им исследование прошлого не ограничивалось ни чисто научными целями, ни даже просветительскими. В Предисловии к «Истории...» он представляет ее как «священную книгу народов», т.е. как учительный жанр¹. Те или иные приемы работы

¹ В. О. Ключевский подверг «Историю государства Российского» жесткой критике, исходя из принципов современной ему науки: «Взгляд К[арамзина] на историю строился не на исторической закономерности, а на нравственно-психологической эстетике. Его занимало не общество с его строением и складом, а человек с его личными качествами и случайностями личной жизни; он следил в прошедшем не за накоплением средств материального и духовного существования человечества и не за работой сил, вырабатывавших эти средства, а за появлением нравственной силы и красоты в индивидуальных образах или массовых движениях <...>. Он не объяснил и не обобщил, а живописал, морализировал и любо-

с материалом использовались с целью утверждения «государственной нравственности» и «неуклонного нравственного правосудия». Этим во многом обусловлены слова Пушкина в его записке «О народном воспитании» (1826): «...Историю русскую должно будет преподавать по Карамзину. <...> Изучение России должно будет преимущественно занять в окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою...» [Пушкин 1949: 47].

В Предисловии к «Истории государства Российского» появляется еще один вариант образа: «легкомысленный историк», пренебрегающий обязанностью «представлять единственно то, что сохранилось от веков в Летописях, в Архивах» [Карамзин 1984: 234]. «История не роман, и мир не сад, где все должно быть приятно: она изображает действительный мир» [Карамзин 1984: 236], — пишет Карамзин. Но автор «Истории государства Российского» не только правдивый историк, он еще «Русский историк». Россию, как огромное по территории государство, он, вслед за Монтескье, «считал наиболее приспособленной для единовластия. Однако для того, чтобы власть эта была монархической, а не деспотической, необходимо просвещение граждан и высокоразвитое, хотя бы в политически активном меньшинстве, чувство чести» [Лотман 1997: 593]. Обладая этим качеством сполна, Карамзин видел себя, прежде всего, российским гражданином и пытался прямо воздействовать на государственную политику, отстаивая единодержавие, но самим своим вмешательством подрывая его неприкосновенность.

Период 1802–1803 гг. был рубежным в идейной эволюции Карамзина. Многие идеалы эпохи Просвещения и сентиментализма были им переосмыслены. Сентименталистская «автономия чувствительного сердца» уступает место «государственной нравственности». Возможно, этим обусловлено заглавие его труда: не просто история России, а история государства. Карамзин стремился «объяснить общий ход нашей исторической жизни и оценить его с нравственной точки зрения» [Платонов 2006: 268], но при этом существенную роль играли и его политические воззрения.

В итоге проделанной работы выявляются определенные черты мироощущения Карамзина, особенности его самоидентификация как

вался, хотел сделать из истории Р[оссии] героическую эпопею русской доблести и славы» [Ключевский 1983: 134].

историка, специфика его исследовательских качеств и этических установок, его ценностный выбор как познающего субъекта. Стремясь к научному историческому познанию, Карамзин, наряду с достоверными сведениями, предъявляет читателю также и свое отношение к событиям минувшего, свой собственный «строгий» взгляд на российских правителей и на историю отечества.

Список литературы

Источники

Карамзин Н. М. Записки старого московского жителя. М.: Моск. рабочий, 1986. 525 с.

Карамзин Н. М. Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице и в сем монастыре // Вестник Европы. 1802. № 17. С. 30–47.

Карамзин Н. М. Историческое похвальное слово Екатерине II // Сочинения Н. М. Карамзина. СПб.: Изд-е А. Смирдина, 1848. Т. 1. С. 275–380.

Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка. СПб.: В тип. Н. Тиблена и Комп., 1862. Ч. 1. 240 с.

Карамзин Н. М. Письма к князю П. А. Вяземскому (1810–1826) // Старина и новизна: исторический сборник. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1897. Кн. 1. С. 1–204.

Карамзин Н. М. Письма к М. Н. Муравьеву // Москвитянин. 1845. № 1. С. 1–16.

Карамзин Н. М. Письма к братьям. 1786–1826. Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2013. 624 с.

Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л.: Сов. писатель, 1966. 424 с.

Карамзин Н. М. Письма к А. И. Тургеневу // Русская старина. 1899. Январь. С. 211–238.

Карамзин Н. М. О московском мятеже в царствование Алексея Михайловича // Вестник Европы. 1803. № 18. С. 119–145.

Карамзин Н. Сборник. М.: Новатор, 1998. 401 с.

Карамзин Н. М. Соч.: в 2 т. Л.: Худож. лит., 1984. Т. 2. 456 с.

Литературный симпозион. Из заметок путешественника, лето 1824 года // Русская старина. 1890. № 9. С. 450–456.

Лыжин Н. Альбом Н. М. Карамзина // Летописи русской литературы и древности. М.: Тип. Грачева и комп., 1858. Кн. II. С. 161–192.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 16 т. М.: АН СССР, 1849. Т. 11. 587 с.

Исследования

Всеобщая история и историческая наука в XX – начале XXI века: сб. ст. и сообщений: в 2 т. Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2020.

Гурвич И. А. О развитии художественного мышления в русской литературе (конец XVIII – первая половина XIX в.). Ташкент: Фан, 1987. 118 с.

Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М.: Наука, 1983. 416 с.

Козлов В. П. Н. М. Карамзин — историк // *Карамзин Н. М.* История государства Российского. М.: Книга, 1988. Кн. 4. С. 17–27.

Лотман Ю. М. «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Карамзина — памятник русской публицистики начала XIX века // *Лотман Ю. М.* Карамзин. СПб.: Искусство-СПб., 1997. С. 588–601.

Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М.: Книга, 1987. 336 с.

Маджаров А. С. Н. М. Карамзин о нравственном начале и провидении в русской истории и историографии // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2016. № 16. С. 40–47.

Платонов С. Ф. Карамзин-историк // Карамзин: Pro et Contra: личность и творчество Н. М. Карамзина в оценке русских писателей, критиков, исследователей. СПб: Изд-во Русской Христианской гуманитарной академии, 2006. С. 257–269.

Сапченко Л. А. «Дар искренней любви...» (Неизданный альбом Н. М. Карамзина) // Литературный факт. 2019. № 2 (12). С. 8–57. DOI: 10.22455/2541-8297-2019-12-8-57

Свердлов М. Б. История России в трудах Н. М. Карамзина. СПб.: Нестор-История, 2018. 368 с.

References

Vseobshchaia istoriia i istoricheskaiia nauka v XX – nachale XXI veka: sbornik statei i soobshchenii: v 2 t. [General History and Historical Science in the 20th – Early 21st Century: Collection of Articles and Messages: in 2 vols.] Kazan, Kazan (Volga region) Federal University Publ., 2020. (In Russ.)

Gurvich, I. A. *O razvitii khudozhestvennogo myshleniia v russkoi literature (konets XVIII – pervaiia polovina XIX v.)* [On the Development of Artistic Thinking in Russian Literature (Late 18th – First Half of the 19th Century)]. Tashkent, Fan Publ., 1987. 118 p. (In Russ.)

Kliuchevskii, V. O. *Neopublikovannye proizvedeniia* [Unpublished Works]. Moscow, Nauka Publ., 1983. 416 p. (In Russ.)

Kozlov, V. P. “N. M. Karamzin — istorik” [“N. M. Karamzin as a Historian”]. Karamzin, N. M. *Istoriia gosudarstva Rossiiskogo* [History of the Russian State], book 4. Moscow, Kniga Publ., 1988, pp. 17–27. (In Russ.)

Lotman, Iu. M. “O drevnei i novoi Rossii v ee politicheskom i grazhdanskom otnosheniakh Karamzina — pamiatnik russkoi publitsistiki nachala XIX veka” [“On Ancient and New Russia in its Political and Civil Relations’ by Karamzin as a Monument of Russian Journalism of the Early 19th Century”]. Lotman, Iu. M. *Karamzin* [Karamzin]. St. Petersburg, Iskusstvo-SPb. Publ., 1997, pp. 588–601. (In Russ.)

Lotman, Iu. M. *Sotvorenie Karamzina* [The Creation of Karamzin]. Moscow, Kniga Publ., 1987. 336 p. (In Russ.)

Madzharov, A. S. “N. M. Karamzin o nraivstvennom nachale i providenii v russkoi istorii i istoriografii” [“N. M. Karamzin on the Moral Principle and Providence in Russian History and Historiography”]. *Izvestiia Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Politologiiia. Religiovedenie*, no. 16, 2016, pp. 40–47. (In Russ.)

Platonov, S. F. “Karamzin-istorik” [“Karamzin-Historian”]. *Karamzin: Pro et Contra: lichnost’ i tvorchestvo N. M. Karamzina v otsenke russkikh pisatelei, kritikov, issledovatelei* [Karamzin: Pro et Contra: The Personality and Work of N. M. Karamzin in the Assessment of Russian Writers, Critics, Researchers]. St. Petersburg, Russian Christian Humanitarian Academy Publ., 2006, pp. 257–269. (In Russ.)

Sapchenko, L. A. “Dar iskrennei liubvi...’ (Neizdannyi al’bom N. M. Karamzina)” [“A Gift of True Love...’ (N. M. Karamzin’s Unpublished Album)”]. *Literaturnyi fakt*, no. 2 (12), 2019, pp. 8–57. DOI: 10.22455/2541-8297-2019-12-8-57 (In Russ.)

Sverdlov, M. B. *Istoriia Rossii v trudakh N. M. Karamzina* [History of Russia in the Works of N. M. Karamzin]. St. Petersburg, Nestor-Istoriia Publ., 2018. 368 p. (In Russ.)

© 2023. О. Б. Кафанова

Санкт-Петербургский Институт Бизнеса и Инноваций
г. Санкт-Петербург, Россия

**Первый образец «толстого журнала» в России:
к 220-летию со времени издания «Вестника Европы»
Н. М. Карамзина**

Аннотация: В статье дается анализ содержания журнала «Вестник Европы» Н. М. Карамзина. Два раздела — «Политика» и «Литература и Смесь» содержали разнообразный материал, который Карамзин черпал из иностранной периодики разных стран. Переводы, которыми он занимался на протяжении 20 лет, и хорошее знание журналов и газет Европы помогли ему создать образец общественно-политического и литературного периодического издания. Исследуется содержание политических статей, посвященных событиям европейской жизни в период сложной общественно-политической ситуации начала XIX в. Обращаясь к разным первоисточникам и серьезным зарубежным аналитикам, Карамзин намеренно задавал в журнале полемический дискурс, в котором сам принимал участие в качестве комментатора. Прослеживается эволюция отношения Карамзина к Наполеону, отмечается, что восхищение деяниями полководца и государственного деятеля сменяется разочарованием и скепсисом после провозглашения его «вечного консульства». На протяжении 1803 г. в «Вестнике Европы» появляется много материалов об успехах просвещения и благотворительности в России. Утверждается, что Карамзину удалось заложить основы для будущих «толстых» российских журналов XIX в.

Ключевые слова: «Вестник Европы», Н. М. Карамзин, журнал, периодика, полемика, зарубежные аналитики, политика, общественная жизнь, просвещение.

Информация об авторе: Ольга Бодовна Кафанова, доктор филологических наук, профессор, Санкт-Петербургский Институт Бизнеса и Инноваций, ул. Гаванская, д. 3 а, 199106 г. Санкт-Петербург, Россия

E-mail: olg_kaf@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 24.02.2023

Дата одобрения статьи рецензентами: 11.04.2023

Дата публикации статьи: 25.06.2023

Для цитирования: Кафанова О. Б. Первый образец «толстого журнала» в России: к 220-летию со времени издания «Вестника Европы» Н. М. Карамзина // Два века русской классики. 2023. Т. 5, № 2. С. 24–49. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-24-49>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 24–49. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 24–49. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2023. Olga B. Kafanova

St. Petersburg Institute of Business and Innovation
St. Petersburg, Russia

The First “Thick” Journal in Russia: To the 220th Anniversary of Nikolay Karamzin’s “Vestnik Evropy”

Abstract: The article analyzes the content of Nikolay Karamzin’s “Vestnik Evropy.” Two sections — “Politics” and “Literature and Miscellanea” — contained a variety of material that Karamzin drew from foreign periodicals from different countries. Translations, which he did for 20 years, and a good knowledge of journals and newspapers in Europe, helped him create an example of a socio-political and literary periodical. The article examines the content of political articles devoted to the events of European life during the difficult socio-political situation of the early 19th century. Turning to various primary sources and serious foreign analysts, Karamzin deliberately set a polemical discourse in the journal, in which he himself took part as a commentator. The article traces evolution of Karamzin’s attitude towards Napoleon and notes that admiration for the deeds of the commander and statesman is replaced by disappointment and skepticism after the proclamation of his “eternal consulate.” Throughout 1803, the “Vestnik Evropy” published many materials on the successes of education and charity in Russia. The author of the article notes that Karamzin managed to lay the foundations for future “thick” Russian journals of the 19th century.

Keywords: “Vestnik Evropy,” N. M. Karamzin, journal, periodicals, controversy, foreign analysts, politics, public life, education.

Information about the author: Olga B. Kafanova, DSc in Philology, Professor, St. Petersburg Institute of Business and Innovation, Gavanskaya 3 a, 199106 St. Petersburg, Russia

E-mail: olg_kaf@mail.ru

Received: February 24, 2023

Approved after reviewing: April 11, 2023

Published: June 25, 2023

For citation: Kafanova, O. B. “The First ‘Thick’ Journal in Russia: To the 220th Anniversary of Nikolay Karamzin’s ‘Vestnik Evropy.’” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 24–49. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-24-49>

В этом году исполняется 220 лет журналу «Вестник Европы» (1802-1803) Н. М. Карамзина, который был задуман как издание литературно-политического содержания. При этом обращение к политике было спровоцировано новой общественно-политической ситуацией, возникшей в Европе и России в начале XIX в. Название журнала, впервые введенное Карамзиным в русскую культуру, многозначно и многослойно. Оно указывает на идею органичной связи России с Европой. С другой стороны, очевидна цель автора — информировать российских читателей обо всех сложных событиях европейской жизни.

Ю. М. Лотман считал, что Н. М. Карамзин не любил политики: «Для философов XVIII века слово “политика” звучало как нечто тайное, основанное на коварстве и порожденное злоупотреблениями абсолютизма» [Лотман 1987: 280]. Карамзин, по-видимому, действительно разделял мнение Вольтера, сравнивающего в своей «Генриаде» «Политику» с «Чудовищем». Подтверждением этому является его замечание при описании могилы Ришелье в «Письмах русского путешественника»: «Я представил бы Кардинала не с Христианскою, святою Религиєю, а с чудовищем, которое называется *Политикою*, и которое описывает Вольтер в Генриаде» [Карамзин 1984: 282].

Что же в особенности способствовало интересу Карамзина к политике, которую он, по сути, выдвинул на первое место в журнале?

Приступая к выпуску «Вестника Европы» в 1802 г., Карамзин уже преодолел свою веру в «просвещенного монарха» и увлечение республиканскими идеалами, переродившимися в кровавый террор, элементы которого он наблюдал во время путешествия во Францию и в период своего пребывания в Страсбурге. Он пережил время тяжелой депрессии, однако к началу 1800-х гг. его настроение изменилось. Обратиться к политике его побуждал ряд важных событий. В России в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. произошло убийство Павла I, вслед за которым на

престол вступил Александр I, что вызвало оптимистические надежды на новые реформы в стране.

С другой стороны, в Европе, в частности во Франции, появились новые политические деятели, казалось бы, предлагавшие какие-то до тех пор не известные, лучшие формы правления. И в центре политических событий мира встал Наполеон, завоевания которого не только «перекроили» Европу, но и приблизили к европейцам Африку, французскую колонию на острове Гаити и другие страны. Необходимо вкратце осветить политику Франции в этот период, чтобы понять многие публикации «Вестника Европы» и отношение к ним Карамзина.

Получив власть в 1799 г., Наполеон застал Францию в изоляции, хотя противостоявшая ей коалиция европейских стран не была прочной. Между союзниками возникли раздоры, повлекшие за собой выход России из коалиции; Павел I начал даже сближение с Францией после того, как в ней «безначалие заменилось консульством», а Наполеон отпустил на родину русских пленных без всякого выкупа. Взяв в свои руки правление, Бонапарт обратился с публичным письмом к английскому королю и австрийскому императору, призывая их прекратить борьбу и остановить кровопролитие. Однако они потребовали взамен возвращения Франции в ее прежние границы и восстановления монархии Бурбонов. Отказ Австрии от мирного решения конфликта вынудил Наполеона предпринять наступление.

Весной 1800 г. французская армия во главе с Первым консулом вторглась в Италию. Победа при Маренго (14 июня) заставила Австрию заключить перемирие и вновь отдать Ломбардию в распоряжение Франции. Другая французская армия под предводительством Моро вторглась в Швабию и Баварию, и после победы при Гогенлиндене (3 декабря) Австрия вынуждена была заключить люневильский мир. 9 февраля 1801 г. Ломбардия превратилась в Итальянскую республику, президентом которой был избран Первый консул. Франция быстро оправилась от последствий революционного террора и восстановила все атрибуты мирной жизни, что немало удивляло иностранцев.

Карамзин — издатель, редактор и автор «Вестника Европы» в одном лице, поставил перед собой, казалось бы, неосуществимую задачу — информировать российскую публику обо всех важнейших событиях современности, обращаясь к первоисточникам и серьезным политическим комментаторам. Помогали ему в этом переводы, которые ком-

пенсировали отсутствие постоянных сотрудников. Карамзин прибегал к тому способу, который он использовал ранее для конструирования «Московского журнала» (1791-1792).

Карамзин занимался переводами с ранней юности до начала работы над «Историей Государства Российского. Прижизненные издания его переводов составляют 9 томов, которые вошли в «Собрание переводов» (1835). Однако в него включена едва ли третья часть всего им переведенного. В процессе исследования переводческой деятельности Карамзина нам удалось установить более 500 наименований [Кафанова 1989: 319-327; 1991: 249-283]. Это не означает полного отсутствия оригинальных и российских сочинений в журнале, они там не только присутствовали, но и задавали, возможно, главную доминанту. Но переводы придавали публикациям широту, жанровое разнообразие и создавали многоголосье взглядов и мнений. Именно благодаря переводам Карамзину и удалось создать лучшие на то время периодические издания в России. Своими переводами, как и оригинальными сочинениями, он, по выражению Белинского, «распространял в русском обществе познания, образованность, вкус и охоту к чтению» [Белинский 7: 122].

Переводной характер любого произведения, опубликованного Карамзиным, был им четко идентифицирован. В этом состояло принципиальное отличие его деятельности от практики, принятой в XVIII в. Используемые им обозначения можно представить в виде достаточно продуманной системы. Самые выдающиеся авторы и произведения указывались полностью (иногда и на языке оригинала) и, как правило, сопровождалась предисловиями, пояснениями или примечаниями, в которых давалась краткая характеристика работ и раскрывалась их значимость.

Большой пласт переводов касался публикаций из периодических изданий. Среди них были материалы исторического, философского, психологического характера; в «Вестнике Европы» добавляются многочисленные статьи политического содержания из иностранных газет и журналов. В этом случае Карамзин, как правило, указывал не только автора, произведение, но и источник, из которого был выбран тот или иной материал для перевода. Благодаря такой информации мы можем установить с большой степенью достоверности широкий круг европейских журналов и газет, к которым Карамзин обращался. Следует особо подчеркнуть, что это были журналы разных стран и направлений.

Наконец, менее значимые в художественном плане переводы (в том числе многочисленные статьи и заметки занимательного и информативного характера), которые, по-видимому, и в иностранных изданиях публиковались анонимно, сопровождалась указанием языка, с которого они переведены. Таким образом, перепутать оригинальное и переводное произведение в практике Карамзина невозможно; он демонстрирует не только высокую для своего времени филологическую культуру, но и открывает новый этап в истории перевода в России. Оригинал для Карамзина — некая суверенная данность, в отличие от принятой в классицизме возможности «бытия произведения, не проецированного ни на какую индивидуальность» [Гуковский: 132–133]. Известно, что в классической эстетике переводчик ставился в один ряд с автором [Левин: 6–7], что было совершенно неприемлемым для Карамзина. Он постоянно подвергал критике переводчиков, которые неверно называли источники или вообще умалчивали о переводном характере произведения [Кафанова 1982: 142–155].

Вместе с тем феномен Карамзина в том и заключается, что каждый вид деятельности, которым он занимался, был самоценным и уникальным. Он был лучшим журналистом и критиком своего времени, он основал первый в России литературно-политический журнал («Вестник Европы») и заложил основы российской журналистики XIX в., он стоял у истоков новейшей русской литературы и являлся реформатором русского языка. И во всех этих начинаниях переводы играли очень важную роль.

Прежде всего, они помогали обходиться без постоянных сотрудников. Публикация отдельных сочинений того или иного русского писателя или поэта не может считаться постоянным сотрудничеством. Весь материал подбирал и распределял по разделам сам Карамзин, опираясь на богатый арсенал переводов. С другой стороны, переводы способствовали созданию постоянных рубрик, являясь материалом для них. Так, в «Московском журнале» были рубрики: «Словесность» (Русская и Иностранная), «Критика», «Театр» (или Театральная критика), «Библиография», «Смесь». «Вестник Европы» имел две большие рубрики «Политика» и «Литература и смесь», но внутри второй вполне отчетливо выявлялся критический раздел, в котором в основном рассматривались иностранные сочинения: это были известия о литературных новинках, «старых» и «новых» авторах.

Вместе с тем в разных изданиях Карамзина переводы использовались с разными целями. В «Московском журнале» все они «били в одну точку», способствуя утверждению сентиментализма. Обоснованию этого направления были посвящены художественные сочинения, критические и философские статьи. В «Вестнике Европы» оригинальные и переводные сочинения, наоборот, создавали полемический дискурс. Переводческие принципы Карамзина не позволяли ему подменять «чужое» «своим». Он специально прибегал к источникам из французской, английской и немецкой периодики, которые давали ему возможность представить разногласия мнений, политических речей и обзоров. А свою собственную позицию он заявлял в примечаниях, комментариях, пояснениях и обобщающих статьях.

Здесь необходимо отметить ошибочные утверждения английского исследователя Энтони Кросса, который вслед за Ю. М. Лотманом [Лотман 1957: 150-155], утверждал: «Карамзин часто перепечатывал или вольно переводил иностранные оригиналы, так чтобы сторонний авторитет по видимости поддерживал мнения, которые сам он выразил в другом месте или считал невозможным высказать открыто» [Кросс: 181]. Подобная «техника», как уже отмечалось, совершенно недопустима для Карамзина, который никогда не позволял подменять перевод своим текстом. Когда речь шла об отдельных политических материалах, иногда безымянных, его переводческая стратегия состояла в их контаминации, сокращении, адаптации, однако суть передавалась точно, несмотря на несогласие с ней переводчика. При этом источник всегда указывался, даже если речь шла о фрагментах выступлений или новостей [Кафанова 2016: 50-51].

В объявлении 16 ноября 1801 г. в «Московских ведомостях», извещающем о выходе «Вестника Европы», сразу подчеркивалось обилие в нем переводных материалов как гарантия достоверности сообщаемых фактов. В объявлении говорилось, что новое издание «будет извлечением из двенадцати лучших английских, французских и немецких журналов. Литература и политика составят две главные части его. <...> Политические известия будут сообщаемы в некотором систематическом порядке и как можно скорее»¹. Свою задачу Карамзин видел в диалектическом поиске истины по многим вопросам политической

¹ Московские Ведомости. 1801. № 92 (16 ноября).

и общественной жизни через изложение подчас противоположных мнений. В «Письме к издателю», помещенном в первом номере, была сформулирована главная установка — ориентация на иностранные журналы, в которых «все лучшие Авторские умы *на сцене*». Поэтому следует «выбирать *приятнейшее* из сих иностранных цветников и пересаживать на землю отечественную»¹.

Всего в «Вестнике Европы» нам удалось установить около 350 переводных текстов. А иностранных периодических изданий в действительности оказалось даже больше заявленных двенадцати:

— немецкие: «Minerva», «Freimühige», «Zeitung für die elegante Welt», «Politisches Journal», «London und Paris»;

— английские: «The Philosophical magazine», «Morning Chronicle», «Argus», «Times»;

— французские / франкоязычные периодические издания (количественно они преобладали): «Décade», «Spectateur du Nord», «Magasin encyclopédique», «Bibliothèque britannique», «Nouvelle Bibliothèque des romans», «Journal des dames et des modes». Новостью было и обращение Карамзина к газетам, в первую очередь — правительственному органу «Moniteur universel», первой французской ежедневной газете «Journal de Paris», а также «Gazette de France».

При этом, мало заботясь о новизне публикуемых беллетристических материалов, Карамзин очень дорожил актуальностью и злободневностью политических известий, которые появлялись в его журнале, как правило, через две-три недели после выхода за рубежом. Количественно в «Вестнике» преобладали политические статьи из французской правительственной газеты. Именно отсюда Карамзин приводил речи первого консула, общественных деятелей, депутатов и министров в своем точном переводе. Однако ради объективности он не мог ограничиться изложением событий только с одной точки зрения. «Сухость и незанимательность Парижских известий, — писал он, заставляет нас прибегать к Лондонским журналам, которые можно сравнить с людьми, желающими всегда рассказывать любопытное и для того нередко мешающими ложь с правдою. Химическое действие рассудка легко отделяет одну от другой»².

¹ Вестник Европы. 1802. Ч. I. Январь № 1. С. 6.

² Вестник Европы. 1802. Ч. VI. Декабрь № 24. С. 339.

Таким образом, Карамзин прибегал к методу изображения политических событий *pro* и *contra*. Он излагал последние известия глазами французских журналистов, затем в качестве оппозиции использовал иронию английских комментаторов, и сам предварял отдельные переводные сообщения специальными комментариями, поясняющими, в какой мере можно им доверять. Например, статью из «Argus'a» — английского журнала, выходявшего в Париже, он сопроводил подробными сведениями о его издателе. Это, по мнению Карамзина, «один из самых ревностных защитников консульского правления и враг английского министерства. Он пишет умно, с новостью, но пристрастен до крайности и даже иногда до бесстыдства. Его можно сравнить с издателем Лондонских ведомостей, «*Courrier de Londres*»: один бранит английское правление, а другой консульское, не заботясь об истине»¹. Вместе с тем каждый номер журнала он заключал подведением итогов в статье под названием: «Известия и замечания».

Наконец, едва ли не главным арбитром в вопросе о «политическом равновесии в Европе» стал немецкий писатель и историк Иоганн Вильгельм фон Архенгольц (*Archenholz*, 1743–1812), издатель и автор журнала «*Minerva, ein Journal politischen und historischen Inhalts*» («Минерва, журнал политического и исторического содержания»). Человек очень интересной биографии и многообразных талантов, Архенгольц умел писать живо, увлекательно и в то же время очень основательно, что сделало его журнал одним из самых лучших периодических изданий Европы того времени.

Политические события настолько подчинили себе все остальные интересы Карамзина, что переводная часть раздела «Литература и смесь» поначалу проигрывала, хотя и в нем были интересные материалы. С другой стороны, четкая грань между двумя разделами размывалась, потому что многие публикации о политике и политических деятелях размещались также и в первом из них. Карамзина настолько занимали вопросы политики, что в первых номерах преобладали материалы, имеющие лишь отдаленное отношение к литературе.

¹ Вестник Европы. 1803. Ч. IX. Май № 9. С. 56.

Примером может служить статья из «Минервы» «История Французской Революции, избранная из Латинских Авторов»¹, которая была далеко не беллетристической. В переводном предисловии излагалось размышление о трудности формирования исторической концепции: «Французская Революция ждет еще своего Историка, и долго будет ждать его; ибо собрание анекдотов и речей не есть История. Не трудно выбирать из множества материалов и описывать то, что собственные глаза наши видели; но какой ум может достойным образом предать потомству изображение славы и стыда нашего, счастливых успехов и бедствий? Писатель, могущий предпринять такое великое дело, должен еще родиться. Пока Небо не дарует нам сего Гения, мы можем, по крайней мере, находить главные черты нашей истории в славнейших классиках древности»².

Все трагические события французской революции трактовались через апелляцию к Титу Ливию, Саллюстию, Тациту, Светонию и другим римским авторам. Утверждалась мысль, что в истории все повторяется, и события французской революции имели свои аналогии в древнеримской истории: казнь монарха, «Вандейская война», «Правление Робеспьерова», «Девятое термидора. Казнь Робеспьерова». Эта интереснейшая статья переведена полно, Карамзин только опустил некоторые события французской революции, например, правление Директории, и сразу после казни Робеспьера переключился на 18 брюмера Бонапарте. Он объяснял, что означает та или иная дата во французской истории: «Дни, известные во французской революции. 10 авг. Народ взял приступом Тюльери. 18 брюмера Бонапарте присвоил себе всю власть»³. Таким образом, эта статья из раздела «Литература и смесь» фактически относилась к историко-политическому дискурсу и намечала едва ли не самую главную фигуру карамзинского журнала — Наполеона Бонапарте.

Следующий небольшой рассказ «Парики» французского автора Пюжу (Pujoux), вновь касался недавних трагических событий во Франции [Minerva 2: 363–269]. Происхождение моды на парики

¹ Minerva, 1801. Bd 2, April. S. 122–136; Juni, S. 527–538. (Versuch über die Geschichte der französischen Revolution. Von einer Societät lateinischer klassischer Schriftsteller).

² Вестник Европы. 1802. Ч. I. Январь № 1. С. 20.

³ Вестник Европы. 1802. Ч. I. Январь № 1. С. 23.

в Париже объяснялось следующим образом: «Любовница, мать, сестра, дочь, у которых Робеспьерова *гильотина* похитила любовника, сына, брата, отца, в надежде сохранить хотя некоторые печальные остатки любезных, покупали волосы их у палача и украшались ими; но сии несчастные жертвы уже забыты, а парики остались!» [Вестник Европы 1: 38–39]

Пожалуй, самая любопытная публикация в первом номере журнала в разделе «Литература» — «Анекдоты о Бонапарте, еще неизвестные» (на переводной характер статьи указывало примечание «из французского журнала»). В ней сообщались разные факты, свидетельствующие о таланте и гениальности Бонапарте. Приводились разные тому доказательства:

«Удача одного предприятия зависит без сомнения от случая, но беспрестанные и многие удачи предполагают великий разум. <...>. Бонапарте в начале своего Консульства часто повторял, что Первый Консул должен быть ничто иное, как первый и всегдашний ходатай государства по внешним и внутренним делам» [Вестник Европы 1: 60–63]. Таким образом, интерес и симпатия к Бонапарте были заявлены в журнале сразу. Разные положительные мнения о первом консуле были размещены в разделе «Литература и смесь», как бы нарушая всякую логику. А последний «литературный» материал номера уже напрямую относился к политике. Статья «Нечто о нынешнем Париже», взятая из «Модного Магазина», рассказывала о воцарении в столице Франции мирной жизни: «Париж, в котором еще недавно было столько шума, волнения, мятежа и всякого рода ужасов, ныне так спокоен и тих, что иностранец, видя его, с трудом верит или глазам, или памяти своей. Французы подлинно чудные люди: один год есть для них век — так скоро они переменяются!» [Вестник Европы 1: 63].

Обобщая все материалы, опубликованные в «Вестнике» за два года (1802–1803), можно с полным правом утверждать, что вопросы положения дел во Франции, влияния этой страны на мир находились в центре внимания Карамзина. Давая в первом номере «Всеобщее обозрение», написанное им самим, Карамзин констатировал установление мира после десятилетия кровопролитий, изменение карты не только Европы, но и Африки благодаря походам французской армии, и делал при этом предостережение: «Многие Политики боятся решительного влияния Франции на участь Европы» [Вестник Европы 1: 79].

Наполеон Бонапарт стал сразу главной фигурой журнала, возможно, даже более интересной, чем все писатели, философы, композиторы и ученые современности. Самые разнообразные материалы о нем содержались как в литературном, так и в политическом разделе каждого номера издания. Именно через репрезентацию образа Наполеона можно проследить политические симпатии и идеалы Карамзина. При этом вряд ли можно согласиться с Э. Кроссом, мнение которого совпадает и с точкой зрения Ю. М. Лотмана: «Каждая статья “Вестника” содержала отсылки к Наполеону, в продолжение всей двухлетней издательской деятельности Карамзина более тридцати статей прямо касались Наполеона или его действий» [Кросс: 181]. Действительно, количество отсылок к фигуре первого консула было очень много. Обилие сочувственных и даже восторженных публикаций о Наполеоне дало основание Ю. М. Лотману назвать «Вестник Европы» «откровенно бонапартистским» органом [Лотман 1987: 282].

Однако это далеко не так: отношение Карамзина стремительно менялось: от подлинного восхищения Наполеоном до скепсиса по отношению к нему и его действиям [Кафанова 2014: 159–175]. Эта эволюция чрезвычайно интересна, поскольку она, по-видимому, повлияла на изменение структуры журнала: появление в нем большего количества материалов о России и примеров идеальных россиян. Нельзя не заметить при этом, что уже сразу в некоторых материалах «Вестника» идеальность образа Наполеона подвергалась сомнению. Еще в начале 1802 г. появляются, пока еще в незначительном количестве, переводные заметки, в которых непогрешимость этого великого человека подвергалась сомнению. В «Письме из Парижа» сообщалось, что «Консул вводит придворную пышность», по поводу которой «насмешники говорят, что эта слабость весьма свойственна и новым богачам, и новым дворянам, и новым Царям!»¹.

Тем не менее, во многих публикациях выражено явное восхищение гениальными способностями Наполеона. Например, Карамзин с большим сочувствием пересказывает взятое из *Moniteur*'а описание заседаний в Совете Франции, делая свои замечания: «*любопытно* видеть, как

¹ Вестник Европы. 1802. Ч. I. Январь № 1. С. 29. В связи с тем, что в первом томе «Вестника Европы» каждая часть (а их всего четыре: Январь № 1, Январь № 2, Февраль № 1, Февраль № 2) имеет свою нумерацию, необходимо это отразить в примечаниях. Начиная со второго тома нумерация сквозная.

Бонапарте входит во все подробности законов, какие основательные замечания предлагает сочинителям их»¹. Подробно излагаются меры, вводимые консулом для борьбы с бедностью во Франции. В статье «Способ истребить нищету в государстве, предложенный французским консулом», говорится: «Мудрое правление должно истребить бродяг и нищих, чтобы <...> возбуждать трудолюбие — единственный источник *творения*»².

В деяниях Наполеона просматривается, с точки зрения Карамзина, если и не возвышение над личным благом во имя общественного, то, по крайней мере, совмещение двух целей. Это тот идеал, который Стендаль, переживший сложную эволюцию от восхищения Наполеоном до критического к нему отношения, не исключаяющего его глубокой любви, считал возможным в эпоху революций — счастье для себя и для других.

Однако окружение первого консула явно «не дотягивало» до альтруизма. Интересно, что, как бы прозорливо предвидя будущее предательство ближайших министров Наполеона, Карамзин публикует разоблачительные материалы о Фуше и Талейране. В статье «Известия и замечания», в которой Карамзин представлял контаминацию сообщений из периодических изданий и собственных комментариев к ним, он замечает: «Великим людям надобно быть весьма осторожными, чтобы *малые* люди не обманывали их. Какой-нибудь Фуше не думает жить для Истории и добродетели: он может иметь низкие и подлые страсти; Консулу не надлежало бы иметь доверенности к таким министрам»³.

В «Письме из Парижа», принадлежащем немецкому журналисту Крамеру, воплощающему взгляд со стороны, концентрировались главные «за» и «против» Наполеона. Отмечалось, что «многие во Франции “хотят непременно сделать его королем”, и поэтому распускают о нем разные слухи: “То говорят, что он набирает пажей и камергеров; то уверяют, что он намерен торжественно короноваться!”». Однако эти сплетни тут же получали опровержение: «Бонапарте любит быть единственным; сажает королей на трон и довольствуется скромным именем французского гражданина»⁴. Заканчивается эта обстоятельная статья

¹ Вестник Европы. 1802. Ч. I. Январь № 1. С. 29.

² Вестник Европы. 1802. Ч. I. Февраль № 4. С. 83–84.

³ Вестник Европы. Ч. II. Март № 5. С. 83.

⁴ Вестник Европы. 1802. Ч. III. Май № 9. С. 69.

на высокой ноте хвалы бесспорным деяниям Наполеона: «Бонапарте дал французам имя *великой нации*, которым они теперь более всего гордятся». Вместе с тем отмечается то, что более всего ценили демократически настроенные умы — выдвигание и продвижение по службе людей талантливых, независимо от их происхождения: «Бонапарте <...> не ищет союза той или другой партии, но ставит себя выше их, и выбирает только способных людей, предпочитая иногда бывшего дворянина и роялиста искреннему республиканцу, иногда республиканца роялисту»¹.

Впоследствии Бальзак вслед за Стендалем будет считать это выдвигание людей не по знатности и богатству, а по личным заслугам, одним из высших проявлений мудрости Наполеона. На память приходит и аналогичная позиция русского царя Петра I, которого сам Карамзин тоже вспоминал по ходу изложения некоторых европейских явлений.

Одно значительное событие следовало во Франции за другим: Наполеон начал удивлять мир не только как полководец, но и как государственный деятель. С марта по апрель 1802 г. количество публикаций об этих делах достигает наивысшей концентрации. «Торжественному восстановлению католической религии во Франции» посвящено в «Вестнике Европы» несколько статей в майских выпусках. Карамзин при этом неизменно выступает с комментариями. В одном случае он замечает: «Таким образом, Бонапарте представляет нам великие явления одно за другим. Торжественное восстановление религии есть без сомнения одно из важнейших дел его»². В журнале помещена и специальная статья «Первое торжественное молебствие французского народа в присутствии консулов и всех властей», взятая из «Gazette de France».

Не успела Европа порадоваться восстановлению во Франции религии, как начались реформы в образовании. В одном из майских номеров Карамзин напечатал статью «Новый план народного учения во Франции, предложенный консулами Законодательному собранию», которую в заключение прокомментировал сам: «Таким образом, Франция подает, наконец, пример державам, вводя народное учение в систему государственного законодательства, и Бонапарте, утверждая одною рукою святую религию, необходимую для сердца, другою открывает

¹ Вестник Европы. 1802. Ч. III. Май № 9. С. 76.

² Вестник Европы. 1802. Ч. III. Май № 9. С. 93.

уму человеческому необозримый путь знаний, который ведет и человека и народ к возможному на земле благоденствию»¹.

Наконец, в июньском номере «Вестника» за 1802 г. появляется довольно сухое сообщение о том, что Трибунат предложил французскому народу голосование по вопросу: «Наполеон Бонапарте должен ли быть консулом *на всю жизнь*? После этого настроение Карамзина резко меняется. Поначалу он дает свой сдержанный комментарий: «Но Бонапарте имеет право быть властолюбивым, а мы не имеем права укорять его властолюбием. Не народ французский, а Провидение поставило сего удивительного человека на степень такого величия»². Затем на протяжении шести номеров Карамзин не дает никаких существенных материалов о Наполеоне, переключив свое внимание на Англию, деятельность английского парламента и восточные страны.

Создается ощущение преднамеренной паузы, которую Карамзин выдерживает в ожидании итогов голосования. Выстраивается своеобразная драматургия репрезентации образа Наполеона в «Вестнике Европы». Экспозиция — рассмотрение Наполеона с различных ракурсов, общий пафос которых — восхищение феноменальными способностями этого человека. Далее чувствуется все нарастающее напряжение, динамизм новостей, стремительно следующих одна за другой, и вот, наконец, обозначается конфликт — объявление о претензиях Наполеона на «вечное» консульство. Значит, надежды на «новые явления» в политике не оправдались. Собственная интонация комментариев Карамзина о Наполеоне приобретает примесь горечи. Чаяния будущего историографа России обрести во французском герое некий идеал не оправдались, и переломным моментом стало провозглашение его «вечного консульства», то есть пожизненного закрепления власти.

В сентябрьском номере Карамзин поместил очень важную статью о церемонии провозглашения Наполеона консулом навечно, которую он предварил своим вступлением и завершил подведением итогов. Он с иронией и даже сарказмом пишет: «Бонапарте, объявленный консулом на всю жизнь, так *искажил* конституцию, что она сделалась иною». Далее он полно переводит описание всей помпезной церемонии и заключает уже сам: «Бонапарте без околичностей называет себя орудием

¹ Вестник Европы. 1802. Ч. III. Май № 9. С. 168.

² Вестник Европы. 1802. Ч. III. Июнь № 11. С. 270.

Неба, избранным от Всевышнего, и проч. Пусть это правда; но столь явно требовать себе алтарей и храмов кажется нам нескромностию. Так говорили Магометы, Зороастры, а не герои Плутарховы. <...> Английские журналисты без сомнения воспользуются такими *восточными*, пышными фразами, и посмеются над ними»¹. В заключение Карамзин делает трезвый вывод, в котором проглядывает философский взгляд историка: «Мы не осуждаем Бонапарте за то, что он не хочет следовать примеру добродетельных мужей древнего Рима, которые, быв несколько времени диктаторами для спасения отечества и совершив подвиг свой, охотно возвращались в сельскую хижину. Франция по своему величию и характеру должна быть монархией, и Бонапарте умеет властвовать; если он утвердит навсегда личную безопасность, собственность и свободу жизни в своем государстве, то история благословит его властолюбие»².

И вот с конца сентября 1802 г. в «Вестнике Европы» появляется масса сообщений, подрывающих авторитет Наполеона. Карамзин активно использует против апофеоза французских публикаций английские, отличающиеся резким высмеиванием всего того, что происходит в еще недавно революционной Франции: восстановление монархии, а затем провозглашение империи.

Следует заметить, что восхищение Карамзина Наполеоном в начале 1800-х гг. разделяли многие будущие герои 1812 г. — С. Н. Глинка, А. А. Тучков и другие. Глинка, русский патриот, впоследствии вспоминал: «С отплытием Наполеона к берегам Египта мы следили за подвигами нового Кесаря; мы думали его славой, его славой расцветала для нас новая жизнь. Верх желаний наших было тогда, чтобы в числе простых рядовых находиться под его знаменами. Но не одни мы так думали и не одни к этому стремились. Кто от юности знакомился с героями Греции и Рима, тот был тогда бонапартистом» [Глинка: 194].

Однако, в отличие от участников Бородинского сражения, Карамзин гораздо раньше и заметно более трезво начинает оценивать Наполеона уже с середины 1802 г. Он намеренно создает в журнале полемический дискурс о первом консуле с помощью разнообразных оппозиционных сообщений о нем из Англии, Германии, а также из самой Франции. На-

¹ Вестник Европы. 1802. Ч. V. Сентябрь № 17. С. 72–73.

² Вестник Европы. 1802. Ч. V. Сентябрь № 17. С. 78.

пример, в сентябрьском номере в разделе «Смесь» приводится «гневная эпистола» к Бонапарте, написанная Л. С. Мерсье и начинающаяся такими строками:

«Bonaparte, il est temps qu'avec toi je m'explique
réponds-moi : qu'as-tu fait de notre république?»¹.

В статье «Взор на прошлый год», опубликованной в начале 1803 г., Карамзин подводил итоги и своих собственных надежд и разочарований. Он перечислял все совершенные в краткий период «великие перемены во Франции», среди которых «амнистия для эмигрантов», «мудрые законы для учения» и другие. Вместе с тем он выразил, по-видимому, разочарование многих своих современников: «Главный исторический характер нашего времени, Наполеон Бонапарте, в течение сего года вышел из сомнительных теней надежды и страха, и явился в полном свете истины, к стыду романических голов, которые в наше время мечтали о Тимолеонах. Наполеон лучше их знает дым славы. <...> Между тем мы должны изъясниться и сказать, что сии забавные Романисты ожидали от Консула. Они думали, что Наполеон, сильною рукою своего гения остановив бурное стремление революции, воспользуется <...> всеми лучшими идеями философов; что он даст Франции почти совершенное (Монархическое или республиканское) правление <...>. — Они думали, что он, совершив великое творение, сложит с себя все знаки Диктаторского достоинства, оставив на голове своей один венок лавровый <...> и успокоится, накануне бессмертия, среди народа благодарного в объятиях славы, под кровом хижины <...>. Надобно признаться, что сей роман стоит Морусовой Утопии!»².

Как бы в подкрепление своим сомнениям Карамзин поместил в июньском номере «Вестника» за 1802 г. статью Архенгольца «О республике италийанской и политическом равновесии Европы», в которой было выражено беспокойство в связи усилением власти Наполеона. Немецкий политик сожалел, что «Англия в осень 1801 года не воспользовалась своим счастливым положением и не заключила благоприятнейшего для спокойствия народов мира; ибо беспредельная сила одного государства

¹ Вестник Европы. 1802. Ч. VII. Январь № 1. С. 76–78.

Бонапарте, пришло время мне с тобою объясниться
Ответь мне, что ты сделал с нашей конституцией?» (Перевод мой. — О. К.)

² Вестник Европы. 1803. Ч. VII. Январь № 1. С. 76–78.

ужасна для всех других». Карамзин в своем переводе выразил эти опасения гораздо более определенно и ясно: «Франция ныне так сильна, народ ее так властолюбив и храбр, что Патриоты других государств должны бояться злоупотреблений ее силы»¹.

Сравним с вариантом Архенгольца: «Man hat <...> die Argumente aufgestellt, wie geringe die Sicherheit sey, daß die übermächtig gewordenen, sehr kriegerischen, sehr ehrgeißigen und jetzt durch keine äußere Gewalt beschränkte Franzosen, ihre Macht nicht mißbrauchen, sondern sie großmütig ausüben werden»².

В 1803 г., приобретя опыт работы над политическим разделом журнала, Карамзин поместил в нем еще две фундаментальные статьи Архенгольца, как бы задающие тревожный отрытый финал в развитии политической ситуации в Европе: «О нынешней войне»³ и «О высадке»⁴. В обоих случаях Карамзин сделал сокращенный перевод, не изменяя основного смысла.

В поисках альтернатив для идеальных примеров служения отечеству Карамзин переключает свое внимание на Россию. В конце 1802 г. в ходе министерской реформы было образовано министерство просвещения, а в 1803 г. было издано новое *положение об устройстве учебных заведений*, внесшее новые принципы в систему образования: бессловность учебных заведений, бесплатность обучения на низших его ступенях, преемственность учебных программ. В крупнейших городах начали открываться университеты, в губернских городах — гимназии, в уездах — училища, а в церковных приходах — церковно-приходские школы.

Неслучайно поэтому в номерах «Вестника Европы» за 1803 г. появляется много публикаций о благотворительной и просветительской

¹ Вестник Европы. 1802. Ч. III. Июнь № 11. С. 251.

² Minerva, 1802, Bd 2, April. S. 15. (Ueber die italiänische Republik und das politische Gleichgewicht vom England / Vom Hauptmann v. Archenholz. Geschrieben in der Mitte des März 1802). «<...> приводились аргументы о том, как мала уверенность в том, что французы, ставшие могущественными, очень воинственными, очень амбициозными и теперь неограниченные никаким внешним насилием, не будут злоупотреблять своей властью, а будут использовать ее великодушно» (Перевод мой. — О. К.).

³ Вестник Европы. 1803. Ч. X. Август № 16. С. 293–301.

⁴ Вестник Европы. 1803. Ч. XI. Октябрь № 20. С. 296–308.

деятельности российских дворян, как правило, в форме «писем к издателю: «Великодушное дело Тверского Дворянина»; «Дворянин — профессор в России»; «Скромное благодеяние. Письмо к Издателю из Киева»; «Письмо сельского жителя»; «О школе, учрежденной для иностранцев в Москве при Новой Лютеранской церкви», «Благодетельный врач в Малороссии» и другие. Рассказывалось и о благодеяниях бедных крестьян. И, как правило, большинство публикаций заканчивалось прославлением российского императора: «Слава Александру!»

Политика в «Вестнике Европы» Карамзина была органично вписана в исторический дискурс. С одной стороны, осмыслились события монархической Франции прошлого (Людовик XVI и Мария Антуанетта в мемуарах Сулави; взгляд на историю французской революции: мысли Неккера, Мишо). С другой стороны, раскрывались планы антибонапартистов («Разоблачение агентов Людовика XVIII»).

В журнале присутствуют рассказы путешественников, сообщения о разнообразных странах: Сан-Доминго, Сицилии, Египте, Турции, Вьетнаме, Китае, Индии, Кубе, Канарских островах. Дается характеристика общества «Нового света», информация об американских президентах Джордже Вашингтоне и Томасе Джефферсоне. Для этих целей используется жанр «письма», очень популярный в иностранной периодике, который предполагает достоверность описываемого. В форме письма даются своеобразные путевые заметки, содержащие описание жизни, государственного устройства, культуры разных народов мира. Карамзин, использовавший и развивший этот жанр в «Письмах русского путешественника», увидел в нем возможность конструирования новых приемов. По выражению Ю. Тынянова, «недоговоренность, фрагментарность, намеки <...>, малая форма письма мотивировали ввод мелочей и стилистических приемов, противоположных «грандиозным» приемам XVIII века. Этот нужный материал стоял вне литературы, в быту» [Тынянов: 21].

Переводные письма были очень продуктивным материалом; через них Карамзин в легкодоступной форме знакомил читателей с новыми явлениями и понятиями. Очень интересен в этом смысле фрагмент из «нового путешествия по испанским колониям в Южной Америке» под названием «Забавы в Гаване, первом городе гишпанского острова Кубы»¹.

¹ Zeitung für die elegante Welt, 1801, № 107, 5. September. Sp. 857-860. (Vergnügungen in der Havana*. Aus der Neuen Reise durch die spanischen Kolonien in Südamerika).

Карамзин встретился в нем с реалиями, отсутствующими в русской культуре, и некоторые из них он перевел очень удачно. Например, «*farbige Leute*» (цветные люди) конкретизировались у него в «негров и мулатов»¹. Сложное словосочетание «азардные игры»² возникло у Карамзина с помощью транслитерации и кальки от «*Hasardspiele*». А. И. Китайгородский объяснил, что слово «азарт» приобрело в русском языке новый смысл. Первоначально оно возникло в результате перевода французского слова *hazard*, что означает «случай» (до революции писали — азардные игры). «Так что азартные игры — это игры, построенные на случае, что звучит уже вполне научно и респектабельно» [Китайгородский].

Название танца «фанданго» Карамзин прекрасно транслитерировал и транскрибировал с оригинального термина, а затем еще дал от себя его пояснение: «Сею сладострастною пляскою более всего славятся Мулатки». А вот термины «коррида» и «тореро» он не смог воспроизвести и придумал его описательное объяснение. «*Hiesige Toreros*» превратились у него в «здесьних ратоборцов»³. Этот пример демонстрирует высокий уровень Карамзина-переводчика, который не просто знакомил читателей с местным колоритом далеких неизвестных стран, но и вводил в русскую культуру новые понятия и реалии.

Однако в журнале на протяжении 1803 г. все чаще речь заходит об истории России, о русской старине: «Известие о Марфе Посаднице, взятое из Жития Св. Зосимы», «Храм Световида», «Записки старого Московского жителя», «О Московском мятеже в царствование Алексея Михайловича», «О добродетельной Княгине Наталье Борисовне Долгорукой (Письмо к Издателю)» и другие.

Важная особенность подбора материалов для «Вестника Европы» состояла в том, что журнал был ориентирован на широкие круги читателей. Карамзин имел в виду социальные и демографические категории, имеющие разные потребности: «министр, придворный, молодой светский человек, красавица, мать, провинциальный дворянин»⁴. Поэтому для раздела «Литература и смесь» настоятельно требовались

¹ Вестник Европы. 1803. Ч. XI. Сентябрь № 17. С. 21.

² Вестник Европы. 1803. Ч. XI. Сентябрь № 17. С. 22.

³ Вестник Европы. 1803. Ч. XI. Сентябрь № 17. С. 22, 21.

⁴ Вестник Европы. 1802. Ч. I. Январь № 1. С. 4.

материалы беллетристические и занимательные. Карамзин представлял в нем психологические характеристики человека: «Ревность», «Нежность», «Воображение». Он публиковал известия о литературных новинках, «старых» и «новых» авторах: Неккера, Лагарпа, Шатобриана, мадам де Сталь, затем «О Богдановиче и его сочинениях». Карамзин отдал дань скорби и памяти Лафатера, Сен-Ламбера, Лагарпа, Клопштока.

«Вестник Европы» не мог, разумеется, обойтись без публикации собственно художественных произведений. Карамзин опубликовал в журнале свои новые сочинения, сложные по поэтике, не укладывающиеся в каноны сентиментализма: «Чувствительный и холодный», «Рыцарь нашего времени», «Моя исповедь», «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода». Он привлек к сотрудничеству и молодого В. А. Жуковского с его повестью «Вадим Новгородский». Однако достаточно ли было этой прекрасной прозы для 24-х номеров журнала? Конечно, недостаточно, если иметь в виду полноценный раздел «Литература». Нужны были иностранные произведения, которые бы поддерживали интерес к журналу. После некоторого замешательства уже к апрельскому номеру 1802 г. был найден автор, сочинения которого печатались из номера в номер, как бы с продолжением: это повести Стефани-Фелисите де Жанлис (Genlis, 1746–1830). В «Московском журнале» основным автором для раздела «Иностранная словесность» был Ж. Ф. Мармонтель (Marmontel, 1723–1799), создатель жанра «нравоучительной сказки», которого Карамзин ценил [Кафанова: 76–89]. С текстами Жанлис он обращался более свободно, чем ранее с произведениями Мармонтеля или, тем более, Лессинга, Стерна, Оссиана и некоторых других выдающихся авторов, значимых своим неповторимым индивидуальным стилем.

Знаменательно, что Карамзин не стал сам представлять романистку, а как бы передоверил это сделать другим. В «Записках одной молодой Немецкой Дамы, живущей ныне в Париже», говорилось о большой популярности «сказок» Жанлис: «Не только весь Париж читает их, но всякая тотчас переводится на иностранные языки». В этой же статье говорилось: «Деятельное воображение и редкое знание света служат для Госпожи Жанлис богатым источником новых мыслей и планов. Кажется, что она всегдашними трудами не истощает, а только острит свой авторский ум. Самый обыкновенный случай открывает ей тайно-

сти человеческого сердца и представляет то важные, то приятные идеи. Дух ее живет, так сказать, в тихих наблюдениях»¹.

Вторая характеристика французской беллетристики принадлежала В. Л. Пушкину. В «Письме русского путешественника из Парижа» он лаконично заметил: «На сих днях я был у Госпожи Жанлис. Она принимает хорошо, говорит умно и просто. — “Я редко вижусь с авторами”, — сказала она мне: “люблю их читать, а не быть с ними”. — Госпожа Жанлис ненавидит Философию, вздыхает о прошедшем и пишет романы в ожидании будущего. Она всем недовольна, а более всего, кажется мне, старостью»². Сам Карамзин был довольно сдержанным: в одном из примечаний он назвал повесть Жанлис «приятной»³; в другом месте отозвался о беллетристке как об «умной и чувствительной женщине», а ее воспоминания считал «занимательной галереею портретов», написанных «с натуры»⁴.

Около двадцати произведений Жанлис публиковались в «Вестнике Европы» довольно регулярно с мартовского номера 1802 г. Пользующиеся достаточно устойчивым читательским успехом, они и по своей вторичности, и по художественному уровню проигрывали «нравоучительным сказкам» Мармонтеля, поэтому переводческая манера Карамзина по отношению к ним была более свободной. Однако Карамзин не допускал каких-то серьезных искажений, главным его приемом стало сокращение. Источником переводов Карамзина в «Вестнике Европы» послужили произведения, опубликованные в литературном альманахе «Nouvelle Bibliothèque des romans» («Новой библиотеке романов»), активной сотрудницей которого писательница стала с 1801 г.

Примером трансформаций Карамзина может служить перевод повести «Все на беду, история эмигранта»: он сделал несколько значимых сокращений, которые превратили тенденциозное произведение в интересное психологическое повествование о человеке, обладающем незаурядными талантами, но слишком добром, доверчивом и простодушном. Жанлис стремилась обвинить тех, кого она считала виновниками революции и ее бедственных последствий для отдельных людей

¹ Вестник Европы. 1803. Ч. IX. Июнь № 11. С. 200–201.

² Вестник Европы, 1803. Ч. XI. Октябрь № 20. С. 247.

³ Вестник Европы. 1803. Ч. VIII. Апрель № 8. С. 257.

⁴ Вестник Европы. 1803. Ч. VII. Февраль № 4. С. 249.

(Вольтера, Дидро, Руссо). Карамзин убрал подзаголовок «*Pour servir à l'histoire de la révolution*» («Чтобы служить историей революции») [Genlis: 1], опустил 4 страницы описания сентенций из Вольтера, Руссо и Дидро, которые герой находил противоречивыми и даже вздорными [Genlis: 49-52].

Сложившийся художник, ставший своего рода живым классиком, Карамзин в начале 1800-х гг. во многом «перерос» привлекаемых им для художественных переводов авторов. Он выступал при этом как против крайностей сентиментализма, так и против так называемого неоклассицизма, к которому можно отнести и Жанлис. Своей правкой он несколько смягчал ригоризм и откровенную нравоучительность писательницы. Правда, А. С. Пушкин негодовал на Жанлис, в наброске статьи «О ничтожестве литературы русской» он писал: «Вольтер и великаны не имеют ни одного последователя в России; но бездарные пигмеи, грибы, выросшие у корня дубов, Дорат, Флориан, Мармонтель, Гишар, М-те Жанлис — овладевают русской словесностью» [Пушкин: 701].

Прав ли был Пушкин? — И да, и нет. Нельзя забывать, что он читал Жанлис на двадцать с лишним лет позже Карамзина. Однако совершенно справедливо, что и в 1820-е, и в 1830-е гг. произведения Жанлис пользовались большим успехом, в особенности среди женщин. Известно, что «Жанлис» была «дежурной книгой» на столе у сестры Пушкина, ее сочинениями зачитывались мать Л. Н. Толстого и мать М. Ю. Лермонтова [Полосина: 106-109]. А Карамзин, который среди целевой читательской аудитории своего журнала выделял «красавицу» и «мать», очень удачно использовал этого автора для успеха своего издания. Вместе с тем и сам Пушкин проявлял интерес к мемуарам Жанлис, а Карамзин опубликовал несколько отрывков из них («*Souvenirs de Félicie*»).

По-видимому, Карамзин был доволен как своими переводами, так и тем, что получилось из его прочтения Жанлис. Он создал свой цикл повестей, оставив без внимания *contes* фантастического, сатирического и псевдоисторического содержания. Заинтересовался он и отобрал для перевода в основном повести психологической направленности. Вместо трехтомного издания «*Nouveaux Contes moraux et Nouvelles historiques*» («Новых нравоучительных сказок и исторических повестей», 1802), он создал двухтомный русский цикл «Повестей госпожи Жанлис», который дважды переиздавался при его жизни (1802–1803; 1815). Каждое

произведение явилось при этом как бы отдельным звеном в общей цепи повествования о многообразии характеров, разнообразных любовных ситуациях и сложности внутреннего мира человека.

Неслучайно поэтому Белинский во второй статье о сочинениях Пушкина (1843), размышляя о карамзинском периоде в русской литературе, отметил: «Переводом <...> некоторых повестей Жанлис Карамзин оказал русскому обществу столь же важную услугу, как и своими собственными повестями. Это значило ни больше, ни меньше, как познакомить русское общество с чувствами, образом мыслей, а следовательно, и с *образом выражения* образованнейшего общества в мире. Новые идеи, естественно, требовали и нового языка. <...> Скорее должно поставить в великую заслугу Карамзину его галломанство: через него ожила наша литература» [Белинский: 134].

Таким образом, «Вестник Европы» послужил образцом для «толстых» журналов, которые считаются лучшими периодическими изданиями России XIX в. Прежде всего, Карамзин продемонстрировал полноценное совмещение литературного и историко-политического разделов. При этом его целью было стремление дать объективное представление о ситуации в Европе и многих других странах мира.

Не менее важным достижением стала четкая рубрикация, позволяющая постоянно развивать разделы Литературы, Политики, Критики, Библиографии.

Поддержанию высокого уровня издания способствовало привлечение постоянных сотрудников (вместо которых у Карамзина «работали» переводы). Непременным компонентом структуры журнала стало присутствие в нем раздела занимательных известий, анекдотов — Смесь. Обязательным условием стало размещение беллетристических произведений с продолжением, или нескольких произведений одного автора.

Находки и открытия Карамзина-журналиста заимствовал и развивал не только М. Стасюлевич, издатель одноименного журнала. Лучшие особенности «Вестника Европы» были представлены и в таких знаменитых журналах середины XIX в., как «Современник» Н. А. Некрасова и «Отечественные записки» А. А. Краевского, затем Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Список литературы
Источники

Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. Т. 7. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1955. Т. 7. 740 с.

Глинка С. Н. Записки. СПб.: Изд-во ред. журн. «Русская старина», 1895. 380 с.

Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л.: Наука, 1984. 724 с.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. М.: Наука, 1964. Т. 7. 785 с.

Genlis S. F. Le Malencontreux, ou Mémoires d'un émigré, pour servir à l'histoire de la révolution // Nouvelle Bibliothèque des Romans, an IX–1801, 3-me année. Т. 7. P. 1–144.

Исследования

Гуковский Г. А. К вопросу о русском классицизме (Состязания и переводы) // Поэтика. Л.: Academia, 1928. Т. 4. С. 126–148.

Кафанова О. Б. Переводы Н. М. Карамзина как культурный универсум. СПб.: Алетейя, 2020. 353 с.

Кафанова О. Б. Библиография переводов Н. М. Карамзина (1783–1800) // Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л.: Наука, 1989. С. 319–337.

Кафанова О. Б. Библиография переводов Н. М. Карамзина в «Вестнике Европы» (1802–1803) // XVIII век. СПб.: Наука, 1991. Сб. 17. С. 249–283.

Кафанова О. Б. Н. М. Карамзин — теоретик и критик перевода (К постановке вопроса о сентименталистском методе перевода) // Художественное творчество и литературный процесс. Томск: ТГУ, 1982. Вып. 3. С. 142–155.

Кафанова О. Б. Переводы Н. М. Карамзина как глобальный текст // Н. М. Карамзин в русской книжной культуре. Материалы международной научной конференции. М.: Пашков Дом, 2016. С. 48–59.

Кафанова О. Б. Образ Наполеона в «Вестнике Европы» Н. М. Карамзина // Карамзинский сборник. Остафьево: Гос. музей-усадьба «Остафьево»—«Русский Парнас», 2014. Вып. 3. С. 159–175.

Китайгородский А. И. Невероятно — не факт. М.: Молодая гвардия, 1972. 255 с.

Кросс Э. «Вестник Европы» Н. М. Карамзина. 1802–1803 // Вестник Европы. 2002. № 6. С. 170–185.

Лотман Ю. М. Эволюция мировоззрения Карамзина (1789–1803) // Ученые записки Тартуского государственного университета. Тарту: Тартуский ун-т, 1957. Вып. 51. С. 122–166.

Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М.: Книга, 1987. 336 с.

Левин Ю. Д. Об исторической эволюции принципов перевода (К истории переводческой мысли в России) // Международные связи русской литературы. Л.: Наука, 1963. С. 5–63.

Полосина А. Н. Стефани-Фелисите де Жанлис в русской литературе // Известия Самарского научного центра РАН. Социальные, гуманитарные науки. 2017. Т. 19, № 1. С. 106–109.

Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Л.: Прибой, 1929. 596 с.

References

Gukovskii, G. A. “K voprosu o russkom klassitsizme (Sostiazanii i perevody)” [“On the Question of Russian Classicism (Competitions and Translations)”], vol. 4: *Poetika* [Poetics]. Leningrad, Academia Publ., 1928, pp. 126–148. (In Russ.)

Kafanova, O. B. *Perevody N. M. Karamzina kak kul'turnyi universum* [N. M. Karamzin's Translations as a Cultural Universe]. St. Petersburg, Aleteiia Publ., 2020. 353 p. (In Russ.)

Kafanova, O. B. “Bibliografiia perevodov N. M. Karamzina (1783–1800)” [“Bibliography of Translations by N. M. Karamzin (1783–1800)”]. *Itogi i problemy izucheniia russkoi literatury XVIII veka* [Results and Problems of Studying Russian Literature of the 18th Century]. Leningrad, Nauka Publ., 1989, pp. 319–337. (In Russ.)

Kafanova, O. B. “Bibliografiia perevodov N. M. Karamzina v ‘Vestnike Evropy’ (1802–1803)” [“Bibliography of N. M. Karamzin's Translations in the ‘Bulletin of Europe’ (1802–1803)”]. *XVIII vek* [18th Century], issue 17. St. Petersburg, Nauka Publ., 1991, pp. 249–283. (In Russ.)

Kafanova, O. B. “N. M. Karamzin — teoretik i kritik perevoda (K postanovke voprosa o sentimentalistskom metode perevoda)” [“N. M. Karamzin — Theorist and Critic of Translation (To Raise the Question of the Sentimentalist Method of Translation)”]. *Khudozhestvennoe tvorchestvo i literaturnyi protsess* [Artistic Creativity and Literary Process], issue 3. Tomsk, Tomsk State University Publ., 1982, pp. 142–55. (In Russ.)

Kafanova, O. B. “Perevody N. M. Karamzina kak global'nyi tekst” [“N. M. Karamzin's Translations as a Global Text”]. *N. M. Karamzin v russkoi knizhnoi kul'ture. Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii* [N. M. Karamzin in Russian Book Culture. Materials of the International Scientific Conference]. Moscow, Pashkov Dom Publ., 2016, pp. 48–59. (In Russ.)

Kafanova, O. B. “Obraz Napoleona v ‘Vestnike Evropy’ N. M. Karamzina” [“The Image of Napoleon in N. M. Karamzin's ‘Bulletin of Europe’”]. *Karamzinskii sbornik* [Karamzin Collection], issue 3. Ostafyevo, State Museum-estate “Ostafyevo” — “Russian Parnassus” Publ., 2014, pp. 159–175. (In Russ.)

Kitaigorodskii, A. I. *Neveroiatno — ne fakt* [Unbelievable — Not a Fact]. Moscow, Molodaia gvardiia Publ., 1972. 255 p. (In Russ.)

Kross, E. “‘Vestnik Evropy’ N. M. Karamzina. 1802–1803” [“‘Bulletin of Europe’ by N. M. Karamzin. 1802–1803”]. *Vestnik Evropy*, no. 6, 2002, pp. 170–185. (In Russ.)

Lotman, Iu. M. “Evoliutsiia mirovozzreniia Karamzina (1789–1803)” [“The Evolution of Karamzin's Worldview (1789–1803)”]. *Uchenye zapiski Tartuskogo gosudarstvennogo universiteta* [Scientific Notes of Tartu State University], issue 51. Tartu, Tartu State University Publ., 1957, pp. 122–166. (In Russ.)

Lotman, Iu. M. *Sotvorenie Karamzina* [The Creation of Karamzin]. Moscow, Kniga Publ., 1987. 336 p. (In Russ.)

Levin, Iu. D. “Ob istoricheskoi evoliutsii printsipov perevoda (K istorii perevodcheskoi mysli v Rossii)” [“About the Historical Evolution of the Principles of Translation (On the History of Translation Thought in Russia)”]. *Mezhdunarodnye sviazi russkoi literatury* [International Relations of Russian Literature]. Leningrad, Nauka Publ., 1963, pp. 5–63. (In Russ.)

Polosina, A. N. “Stefani-Felitsite de Zhanlis v russkoi literature” [“Stephanie-Felicite de Janlis in Russian Literature”]. *Izvestiia Samarskogo nauchnogo tsentra RAN. Sotsial'nye, gumanitarnye nauki*, vol. 19, no. 1, 2017, pp. 106–109. (In Russ.)

Tynianov, Iu. *Arkhaisty i novatory* [Archaists and Innovators]. Leningrad, Priboi Publ., 1929. 596 p. (In Russ.)

© 2023. Е. А. Федорова

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия

В. В. Любарец

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия

Мечтатель и Подпольный герой М. Ю. Лермонтова и Ф. М. Достоевского в свете этического учения А. А. Ухтомского

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-01302, <https://rscf.ru/project/23-28-01302/> «Методология аксиологического подхода к изучению русской словесности А. А. Ухтомского и Д. И. Чижевского»

Аннотация. В статье осмысливается с опорой на этическое учение религиозного мыслителя А. А. Ухтомского развитие типа Мечтателя и Подпольного героя в повестях и романах Лермонтова и Достоевского. Лермонтов создает образ художника Лугина как Мечтателя («Штосс»), в чертах характера Красинского и Печорина («Княгиня Лиговская») проступают черты Подпольного героя. В творчестве Достоевского Мечтатель показан не только в повести «Белые ночи», но и в рассказе «Маленький герой», повести «Неточка Незванова». Подпольный герой Достоевского изображен в повести «Записки из подполья» и романе «Подросток». Мечтатели обоих писателей погружены в мир литературы, музыки, театра, что развивает их воображение. Однако герои Достоевского, в отличие от героя Лермонтова, способны совершить поступок и повлиять на действительность.

Ключевые слова: М. Ю. Лермонтов, Ф. М. Достоевский, А. А. Ухтомский, мечтатель, подпольный герой, доминанта личности, хронотоп, петербургский текст, московский текст, символ.

Информация об авторах:

Елена Алексеевна Федорова, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры теории и практики коммуникации, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, ул. Советская, д. 14, 150003 г. Ярославль, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7756-2499>. E-mail: sole11@yandex.ru

Виктория Викторовна Любарец, студентка факультета филологии и коммуникации, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, ул. Советская, д. 14, 150003 г. Ярославль, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-0369-3282>
E-mail: trybatrepko2003@gmail.com

Дата поступления статьи в редакцию: 21.02.2023

Дата одобрения статьи рецензентами: 06.04.2023

Дата публикации статьи: 25.06.2023

Для цитирования: Федорова Е. А., Любарец В. В. Мечтатель и Подпольный герой М. Ю. Лермонтова и Ф. М. Достоевского в свете этического учения А. А. Ухтомского // Два века русской классики. 2023. Т. 5, № 2. С. 50–71. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-50-71>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 50–71. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 50–71. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2023. Elena A. Fedorova

P. G. Demidov Yaroslavl State University Yaroslavl, Russia

Victoria V. Liubarets

P. G. Demidov Yaroslavl State University Yaroslavl, Russia

The Dreamer and the Underground Hero of M. Yu. Lermontov and F. M. Dostoevsky in the Light of the Ethical Teachings of A. A. Ukhtomsky

Acknowledgments: The work was carried with financial support of the Russian Science Foundation, project no. № 23-28-01302 “Methodology of the axiological approach to the study of Russian literature by A. A. Ukhtomsky and D. I. Chizhevsky” (<https://rscf.ru/project/23-28-01302/>).

Abstract: Based on the ethical teaching of the religious thinker A. A. Ukhtomsky, the article traces and comprehends the development of the type of the Dreamer and Underground Hero in Lermontov and Dostoevsky’s stories and novels. Lermontov creates the image of the artist Lugin as a Dreamer (“Stoss”), and in the character traits of Krasinsky and Pechorin (“Princess Ligovskaya”), the features of the Underground Hero appear. In the work of Dostoevsky, the Dreamer appears not only in the story “White Nights,” but also in the story “Little Hero,” the story “Netochka Nezvanova.” The Underground Hero of Dostoevsky is depicted in the story “Notes from the Underground” and the novel “The Teenager.” The dreamers of both writers are immersed in the world of literature, music, theater, which develops their imagination. However, the characters of Dostoevsky, unlike Lermontov’s one, are able to commit an act and influence reality.

Keywords: M. Yu. Lermontov, F. M. Dostoevsky, A. A. Ukhtomsky, dreamer, underground hero, personality dominant, chronotope, Petersburg text, Moscow text, symbol.

Information about the authors:

Elena A. Fedorova, DSc in Philology, Associate Professor, Professor, Department of Theory and Practice of Communication, P. G. Demidov Yaroslavl State University, 14 Sovetskaya St., 150003 Yaroslavl, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7756-2499>. E-mail: sole11@yandex.ru

Victoria V. Lyubarets, Student, Department of Philology and Communication, P. G. Demidov Yaroslavl State University, 14 Sovetskaya St., 150003 Yaroslavl, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-0369-3282>. E-mail: trybatrepko2003@gmail.com

Received: February 21, 2023

Approved after reviewing: April 06, 2023

Published: June 25, 2023

For citation: Fedorova, E. A., Liubarets, V. V. “The Dreamer and the Underground Hero of M. Yu. Lermontov and F. M. Dostoevsky in the Light of the Ethical Teachings of A. A. Ukhtomsky.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 50–71. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-50-71>

Проблема преемственности прозы М. Ю. Лермонтова и Ф. М. Достоевского в последнее время привлекает внимание многих исследователей. В отечественной науке сопоставление осуществляется в основном с использованием таких категорий поэтики произведений, которые позволяют моделировать картину мира. Так, А. П. Валагин обращается к общим мотивам творчества писателей [Валагин], А. В. Храброва находит сходство в хронотопе героев [Храброва: 17].

Зарубежных ученых в творческом наследии Лермонтова интересует, прежде всего, роман «Герой нашего времени». В иностранных исследованиях преобладает герменевтический подход. В немецкой и чешской науке особенности психологизма Лермонтова и Достоевского осмысливаются с помощью повествовательных структур [Шмид], «нарративной маски» героя. Голландский исследователь А.Г.Ф. Ван Холк [Holk] и венгерский ученый Жофия Силади [Силади] обращаются к структурному методу, чтобы понять тайну лермонтовского героя. Вместе с тем, в западной науке о Достоевском все более востребованным становится обращение к «христианскому тексту» писателя. Его стремятся выявить и проанализировать О.Меерсон, К. Аполонио, М. Джоунз, Дж. Гивенс и др. [Гивенс: 77].

В отечественной науке о Лермонтове преобладает аксиологический подход [Власкин]. Осмысление романа Лермонтова с точки зрения реализации национальных духовно-нравственных традиций в отечественной науке приводит чаще всего к противопоставлению Печорина и Максима Максимовича. В современных российских исследованиях превалирует понимание Печорина как героя, оторванного от «почвы». Черты типа «лишнего человека» Лермонтова прослеживаются в героях-идеологах Достоевского. А. М. Буланов, например, рассматривает развитие идей А. С. Хомякова и И. В. Киреевского о синтетическом единстве «ума – сердца – чувства» на материале романов «Герой нашего времени», «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карама-

зовы», «Анна Каренина» [Буланов]. Раскольников и Иван Карамазов, по мнению исследователя, как и Печорин, не могут жить сердцем и неизбежно приходят к противоречиям ума, при этом феноменологию сознания героев исследователь противопоставляет феноменологии авторского сознания [Буланов: 140].

По мнению К. Г. Исупова, Лермонтова, в отличие от Пушкина, можно назвать основоположником русской (если не общеевропейской) негативной метафизики, которая способна утверждать положительный идеал через его отрицание [Исупов: 46]. Печорин, считает Исупов, использует случай (дуэль с Грушницким) как конструкт в моделировании судьбы другого героя [Исупов: 43]. Эта этическая ошибка, насильственное внесение в порядок Бытия сюжетобразующие энергии личной прихоти, замкнутость на себе, по мнению Исупова, ведут Печорина к неугаданности Судьбы и гибели [Исупов: 44, 47].

О. В. Сливицкая обращает внимание на дискретность бытия героя, раздробленность его жизни и нарушение в композиции романа линейного времени главного героя [Сливицкая: 54]. Обида «простого человека» Максима Максимовича на рефлексирующего героя и указание на смерть Печорина становятся для читателя маркером, который позволяет, читая «Журнал Печорина», перейти к размышлениям о смысле жизни «героя» своего времени. По мнению другого исследователя, С. Г. Бочарова, главы в начале и в конце «Дневника Печорина» — «Тамань» и «Фаталист» — обращают читателя к «тайне жизни» и сюжету испытания героем себя [Бочаров: 438].

Иного мнения придерживаются В. Н. Захаров, О. Н. Осмоловский и др. [Захаров], [Осмоловский]. Главной установкой автора при создании образа Печорина, по мнению В. Н. Захарова, является многозначность. Родственная концепция личности, по мнению исследователя, изображена Достоевским в повести «Записки из подполья» и романе «Бесы» (образ Ставрогина).

Задача данного исследования — проследить развитие типа Мечтателя и Подпольного героя в повестях и романах Лермонтова и Достоевского. В поздней прозе Лермонтова рассматриваются повесть «Штосс» (1841), романы «Княгиня Лиговская» (1837) и «Герой нашего времени» (1840). Лермонтов создает образ художника Лугина как Мечтателя («Штосс»), в чертах характера Красинского и Печорина («Княгиня Лиговская») проступают черты Подпольного героя. В творчестве Досто-

евского Мечтатель показан не только в повести «Белые ночи» (1848), но и в рассказе «Маленький герой» (1857), повести «Неточка Незванова» (1849). Подпольный герой Достоевского исследуется в повести «Записки из подполья» (1864) и романе «Подросток» (1875). В последнем произведении черты Мечтателя и Подпольного героя соединяются в образе Аркадия Долгорукого, который показан в развитии. Этому герою удается преодолеть кризис, у него есть будущее.

Попытку выстроить типологию героев Достоевского осуществляли еще его современники. Так, Н. А. Добролюбов дифференцировал героев Достоевского на кротких и ожесточенных, А. А. Григорьев — страстных и кротких [Одинокоев: 4]. В. Ф. Перверзев обратился к проблеме двойничества, поэтому находил в системе образов многих произведений двойников главных героев. Л. П. Скафтымов предложил более сложную классификацию героев Достоевского: он выделил типы мыслителя, мечтателя, поруганной девушки, двойника, подпольного человека [Одинокоев: 4]. Продолжая развивать мысли предшественников, В. Г. Одинокоев пришел к выводу, что у Достоевского «общей покрывающей точкой» системы центральных образов являются типы мечтателя и подпольного человека в их внутренней диалектической связи [Одинокоев: 7]. А. Б. Криницын в работе «Исповедь подпольного человека» привел ряды текстовых параллелей, показывающих прямую преемственность между образами мечтателя и подпольного героя [Криницын]. М. Г. Гиголов определил роль героев Лермонтова в строительстве нового романа Достоевского, в частности, он остановился на проблеме трансформации мечтателя в подпольного героя [Гиголов].

Возникают вопросы. Кто из героев прозы Лермонтова предшествует появлению Мечтателя и Подпольного героя (Парадоксалиста) Достоевского? Всегда ли неизбежна трансформация Мечтателя в Парадоксалиста у Достоевского? Какой фактор является решающим в определении системы ценностей героев?

Аксиологический подход к героям Лермонтова и Достоевского можно осуществить благодаря этическому учению ученого и религиозного мыслителя Алексея Алексеевича Ухтомского (1875–1942), который сформулировал принцип доминанты, опираясь на материал произведений Ф. М. Достоевского [Федорова]. Теория доминанты у Ухтомского непосредственно связана с понятием хронотопа, поскольку распознавание человеком окружающего мира происходит во

времени и пространстве [Соколова: 148]. Продуктом пережитой доминанты становится «интегральный образ», который может трансформироваться под воздействием новых впечатлений [Соколова: 161]. По мнению Ухтомского, человек может стать жертвой своих доминант, если отдается предубеждению [Ухтомский: 217]. «Двойничество» — это отражение эгоцентризма [Соколова: 208]. Выстраивание себя по христианскому образцу, домостроительство — это воспитание в себе «собеседника», который позволяет наиболее полно раскрыть для себя индивидуальность другого человека, познать глубины его духовной жизни [Соколова: 205].

В Рыбинском музее-заповеднике хранится часть библиотеки Ухтомского. На полях своей настольной книги «Добротолюбие» Ухтомский частично излагает свою концепцию личности. По поводу духовного в человеке он пишет: «Духъ есть не вѣчное, а динамическое, дѣятельное начало» [Добротолюбие: 342]. Рядом с описанием грехов Ухтомский замечает: «Доминанта, обличающая внутреннего человека» [Добротолюбие: 432]. Подчеркивая слова о богоугодной жизни, Ухтомский пишет рядом: «Поставь доминанту на научение доброму, тогда в каждом человеке и своем собеседнике будешь черпать поучение доброе на доброе для обоих» [Добротолюбие: 443]. Предание и христианская символика нужны тому человеку, который «сам опытом узнавать еще не силен» [Добротолюбие: 695]. Символ человек перенимает, не понимая его значения, но, когда человек коснется его духом, символ «вспыхнет ярким золотым пламенем» [Добротолюбие: 195]. Духовная эволюция, замечает Ухтомский, должна привести человека от искусства и символов к благому молчанию и молитве, о которой написано: «...молитва подлинное исследование самого себя, чтение совести» [Добротолюбие: 678]. Высшая ступень развития человека духовного, по Иоанну Лествичнику, сравнивается с «новонасажденным деревом», а душа, «как водное орошение, имеет слезы по Богу» [Добротолюбие: 346]. Ухтомский пишет рядом: «Переходъ в нѣкоторое новое состояние: “новая тварь”» [Добротолюбие: 346].

Сопоставление Мечтателя Лермонтова с подобными героями Достоевского убеждает в том, что Достоевский искал пути духовного возрастания личности. Христианский идеал самопожертвования, служения своему ближнему становится для его Мечтателей образцом поведения.

В последнем прозаическом произведении «Штосс» Лермонтов создает образ Мечтателя, который восходит к Пискареву и Чарткову Гоголя («Невский проспект», «Портрет»), а также Герману Пушкина («Пиковая дама»). Подобно Пискареву, герой повести влюбляется в созданный его воображением идеал. Как Чартков, вступает в сделку с таинственным стариком-призраком, выходящим из портрета. С Германом героя Лермонтова объединяет страсть к игре в карты, которая «сделалась целью его жизни» [Лермонтов: 365]. Лермонтов во многом следует европейской традиции: это и вариация на тему Фауста [Найдич], поклонение «вечной женственности» Гете, которая была подхвачена немецкими романтиками. Герой повести «Штосс», художник Лугин, воплотил свой идеал в творчестве — это портрет «женщины-ангела» [Лермонтов: 361]. Следуя голосу, который он слышит, Лугин снимает квартиру Штосса, и его посещает старик-призрак, выходящий из висящего на стене квартиры портрета, а также сопровождающая его девушка, в которой он узнает созданный его воображением идеальный женский образ. Старик предлагает ему игру в штос — от выигрыша героя зависит судьба девушки. Лугин начинает играть и постепенно проигрывает все, что у него было. Он перестает общаться с людьми и превращается в мономана. Найдич считает, что Лермонтов в своей повести разоблачает одержимость страстью современного писателю человека [Найдич]. Таким образом, у Мечтателя Лермонтова формируется доминанта на игру (игру с судьбой), и он начинает превращаться в Подпольного героя.

Черты данного героя можно обнаружить не только в Парадоксалисте, но и в Алексее («Игрок» Достоевского) (1864). Чувства Алексея противоречивы, поскольку в нем борются две доминанты: готовность пожертвовать собой ради Полины и жажда обладания ею. «Двойник» в душе героя не дает ему объективно взглянуть на действительность: Алексей приписывает Полине низкие качества, его речь эгоцентрична. К страсти к Полине добавляется страсть к игре в рулетку. Переключение героя с одной страсти на другую происходит во время выигрыша крупной суммы денег для Полины. С этого времени он становится одержим идеей выигрыша для себя. Для него это возможность дать «щелчок» судьбе, он вступает в борьбу с роком. В конце романа Алексей показан как человек, потерявший себя, свою любовь и свое Отечество.

В отечественной науке образ Мечтателя в «сентиментальном романе» «Белые ночи» в основном рассматривается как амбивалентный. В. Г. Одинокоев находит в характере Мечтателя в «Белых ночах» упорное стремление занять первое место в жизни [Одинокоев: 42]. Однако Достоевский дает своему герою слово и возможность вершить суд над собой. Мечтатель говорит Настеньке о своем отношении к ней: «Что ж делать, Настенька, что ж мне делать? я виноват, я употребил во зло... Но нет же, нет, не виноват я, Настенька; я это слышу, чувствую, потому что мое сердце мне говорит, что я прав, потому что *я вас ничем не могу обидеть, ничем оскорбить!* Я был *друг ваи*; ну, вот я *и теперь друг*; я ничему не изменял» [Достоевский 2: 134–135]. Герой Достоевского признается, что у него нет никаких тайных намерений и корыстных чувств. В отличие от Лугина Лермонтова и его предшественников из немецкой романтической литературы, Мечтатель Достоевского открыт окружающему миру, не только живет в воображаемом мире, он совершает поступок в действительном мире. В ситуации испытания герой готов забыть о себе. Он относит письмо Настеньки к ее жениху, и ему удается устроить их встречу. Счастье Настеньки становится главной наградой для Мечтателя.

В повести «Неточка Незванова» и рассказе «Маленький герой» возникает похожая ситуация испытания, связанная с чужим письмом. В этих произведениях Достоевский показывает генезис Мечтателя, поскольку читатель видит героев в их детском возрасте. В «Маленьком герое», как и в «Неточке Незвановой», повествование ведется от первого лица, что позволяет погрузиться в сознание главных героев. Образ Маленького героя коррелирует с образом Неточки: дети рефлексируют по поводу происходящих событий, пытаются их по-своему анализировать. Однако образ Неточки показан в динамике, поскольку героиня «развивалась быстро, неожиданно, и много совершенно недетских впечатлений стали для нее как-то страшно доступны» [Достоевский 2: 159], в то время как в «Маленьком герое» рассказчик не пишет о своем изменении: «...я был ребенок, не более как ребенок» [Достоевский 2: 269]. Несмотря на это, в обоих произведениях показан тот этап развития личности, когда происходит переход от эгоцентризма к пониманию ценности другого человека.

Важно отметить, рождение «категории лица» в обоих произведениях сопровождается сюжетным мотивом испытания. Если в «Маленьком

герое» это укрощение коня, то в «Неточке Незвановой» — наказание «темницей». Неточка выдерживает испытание, взяв на себя вину за проступок Кати. Благодаря тому, что Неточка видела ценность в «другом», она получила Собеседника в лице младшей дочери князя, а уже после — старшей. Рыцарский поступок Маленького героя помогает ему разобраться в непростой ситуации с письмом и вновь помочь героине, которая может стать жертвой деспотизма мужа. Неточка, невольно прочитав чужое письмо, готова прийти на помощь Александре Михайловне.

Примечательно, что в рассказе «Маленький герой» и повести «Неточка Незванова» часто фигурирует мотив «угла», который для героев становится средством защиты. В тот момент, когда Маленький герой оказывается перед необузданным жеребцом, «и самого маленького уголка» [Достоевский 2: 282] для него не находится. В «Неточке Незвановой» главная героиня свой родной дом называет углом, поскольку их семья — это маленький закрытый мир: «Я поняла, и уж не помню как, что в нашем углу — какое-то вечное, нестерпимое горе» [Достоевский 2: 161], «в испуге выбегала я из угла» [Достоевский 2: 191], «я притаилась в углу» [Достоевский 2: 195]. Катя, поставив Неточку в угол для игры, вдруг осознает беззащитность Аннеты перед миром: «Она поставила меня в одном углу залы, но сама, вместо того чтоб отойти и бросить мне мяч, остановилась в трех шагах от меня, взглянула на меня, покраснела и упала на диван, закрыв лицо обеими руками» [Достоевский 2: 217]. «Угол» становится символом замкнутого, закрытого мира, в котором можно спрятаться от общества.

В повести «Неточка Незванова» важен мотив музыки. Занятия по пению имели свои последствия — в Неточке пробуждается гордость и тщеславие, когда она думает о возможном будущем успехе. Девочка замыкается: «К тому же я хоть и робко, но с страстной надеждой любила свое искусство, строила воздушные замки, выкраивала себе самое чудесное будущее и нередко, возвращаясь, была будто в огне от своих фантазий» [Достоевский 2: 249]. В данной ситуации ее двойником становится Ефимов. Он говорил, что «сам дьявол привязался к нему» [Достоевский 2: 146], нечто аналогичное происходит и с Аннетой: «... кто-то словно смеется надо мной потихоньку, как будто что-то такое поселилось во мне, что смущает и отравляет каждую мысль мою» [Достоевский 2: 245]. Зеркало позволяет девочке увидеть себя со стороны, с ним связан мотив двойничества.

Неточку и Подпольного героя объединяет неблагополучное детство. По мнению А. Б. Криницына, «основы мечтательного характера закладываются еще в детстве, когда в силу неких трагических обстоятельств распадается семья героя, и он растет, предоставленный сам себе. Так, неестественно раннее развитие Неточки Незвановой обусловлено тем, что ее хрупкое детское сознание потрясено враждебными отношениями между матерью и пьяницей-отцом» [Криницын: 10]. Парадоксалист также упоминает, что у него в семье были проблемы: «Меня сунули в эту школу мои дальние родственники... сунули сиротливого, уже забитого их попреками, уже задумывающегося, молчаливого и дико на все озиравшегося» [Достоевский 5: 139]. В то же время, про семью Маленького героя мы практически ничего не знаем. В тексте нет деталей, которые бы указывали на негативное или положительное влияние родственников и их отношения между собой.

Объединяет Неточку и Парадоксалиста то, что они отличаются от окружающих. А. Б. Криницын отмечает, что «вынужденное одиночество делает характер героя “исключительным”» [Криницын: 10]. Парадоксалист в школьные годы «заклучился от всех в пугливую, уязвленную и непомерную гордость» [Достоевский 5: 139], кроме того, он действительно считал себя «исключительным»: «Еще в шестнадцать лет я угрюмо на них дивился; меня уж и тогда изумляли мелочь их мышления, глупость их занятий, игр, разговоров» [Достоевский 5: 139]. Однако Неточка, несмотря на желание «забиться в угол», взаимодействует с окружающими, пытается угодить объекту своего обожания. Нечто подобное мы можем наблюдать и в отношении Маленького героя к m-ме М: «...я заучил каждый жест, каждое движение её...» [Достоевский 5: 274]. Если Парадоксалист замыкается на себе, погруженный в «гордое» одиночество, то Аннета и Маленький герой — нет. Знакомство с Катей заставляет Неточку даже забыть трагические отношения матери и отчима: «Таким образом, новые впечатления мало-помалу вытесняли старые, и воспоминания о моем грустном прошедшем потеряли свою болезненную силу и сменились во мне новой жизнью» [Достоевский 5: 210].

А. Б. Криницын отмечает, что «поворотным и решающим моментом в формировании характера юного отшельника становится приобщение его к миру книг» [Криницын: 11]. Подпольный герой, как и Мечтатели Лермонтова, погружен в мир воображения с помощью чтения.

Неточка открывает в себе способности к музыке, которая позволяет ей понять Ефимова и Александру Михайловну. Маленький герой вместе с предметом своего обожания участвует в драматических сценах из средневековой жизни. Но и в реальной жизни он сохраняет рыцарское отношение к своей «прекрасной даме». Таким образом, Парадоксалист остается жить в мире грез, а Неточка и Маленький Герой по существу занимаются домостроительством, выстраивая себя по христианскому идеалу, который предполагает служение ближнему. В этом служении Мечтатель обретает подлинную свободу. Маленький герой, любуясь садом, вспоминает Евангелие, глядя на птиц: «Кругом стоял неумолкаемый концерт тех, которые “не жнут и не сеют”, а своевольны, как воздух, рассекаемый их резвыми крыльями. Казалось, что в это мгновение каждый цветок, последняя былинка, курясь жертвенным ароматом, говорили Создавшему ее: “Отец! Я блаженна и счастлива!”» [Достоевский 5: 292–293]. Птицы небесные символизируют свободу как следование воле Божией.

Неточка включается в диалог согласия с Александрой Михайловной сначала с помощью музыки, а затем ощущает необходимость соборной жизни: «Мне нужно было видеть, слышать кого-нибудь, обнять крепче, крепче. Я уж не могла, не хотела теперь оставаться одна» [Достоевский 2: 244].

Для Парадоксалиста испытанием становится каждое столкновение с действительностью — будь то желание толкнуть офицера, встреча со школьными товарищами или визит Лизы. Парадоксалист, замыкаясь на себе, видит во всех окружающих своих «двойников» и этим заводит себя в тупик. Он не может отказаться от эгоцентризма, поэтому у него не получается построить диалог с Лизой и с бывшими одноклассниками. Вполне возможно, что в Парадоксалисте после последнего разговора с Лизой произошли серьезные изменения. Подпольный герой мог бы обрести свое спасение в лице Лизы, как и Раскольников в лице Сони Мармеладовой.

Важно упомянуть, что во всех трех произведениях встречаются мотивы зеркала и угла. В «Неточке Незвановой» зеркало фигурирует в двух эпизодах: в первом Петр Александрович надевает маску, стремясь играть роль деспота в отношениях со своей супругой Александрой Михайловной, во втором Неточка видит себя со стороны. В «Маленьком герое» зеркало присутствует в описании мужа m-те

М, для которого весь мир становится зеркалом [Достоевский 2: 275]. В «Записках из подполья» герой перед встречей с Лизой видит себя в зеркале и ужасается [Достоевский 5: 151]. Таким образом, можно выявить сходство в функциях мотива зеркала в данных произведениях — для мужа m-те М и Петра Александровича этот образ связан с двойничеством, Неточка и Парадоксалист видят себя со стороны, что пробуждает их самосознание. Следует отметить, что в Парадоксалисте сочетаются черты разных типов героев. Писатель показывает героя в динамике, а не в статике, что позволяет говорить о вере писателя в человека.

Печорин в романе Лермонтова «Герой нашего времени» — это также динамический персонаж. Б. Т. Удодов считает, что основная идея романа — это размышление о смысле и цели человеческой жизни [Удодов]. Т. В. Савченко раскрывает авторскую позицию в романе в композиции и в символической образности, она выделяет мотив пути, который ассоциируется в художественной системе романа с мыслями о трагической судьбе своего поколения. Мотив пути является важным композиционным средством — «хронотопом дороги», его вариантом становится тема судьбы в ее трагическом звучании [Савченко: 16–17].

Очевидно, что «хронотоп дороги» героя соотносится с размышлениями писателя об общей судьбе России, о назначении русского человека. «Петербургский текст» важен для обоих писателей, поскольку с ним связан формирующийся в русском пространстве тип подпольного героя. В последнем незаконченном прозаическом произведении «Штосс» Лермонтов, вслед за Пушкиным и Гоголем, создает тип игрока, живущего в пограничном состоянии. Петербург показан глазами художника Лугина: «Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены» [Лермонтов: 355]. Парадоксалист в повести и Раскольников в романе Достоевского «Преступление и наказание» видит мир такими же глазами. Место действия в произведениях Лермонтова и Достоевского — это Столярный переулочек у Кукушкина моста, Малая Мещерская улица [Лермонтов: 356]. Герои Лермонтова и Достоевского слышат звуки шарманки, которые соответствуют их внутреннему состоянию [Лермонтов: 362]. Писатели показывают одну из болезней современного им человека — это монomanия, одержимость идеей и страстью [Найдич].

Подобного подпольного героя показывает Лермонтов в неоконченном романе «Княгиня Лиговская». История вражды Красинского и Печорина в этом произведении трансформируется в романе «Герой нашего времени» в поединок Грушницкого и Печорина.

Сюжетный мотив столкновения офицера и чиновника у Достоевского встречается в повести «Записки из подполья» и романе «Подрасток». В Красинском Лермонтов подчеркивает болезненное самолюбие: герой «приписал гордости и умышленному небрежению вещь чрезвычайно простую и случайную [Лермонтов: 183]. «Пылкое воображение» Печорина заставляет его преувеличивать свои недостатки [Лермонтов: 180]. По этическому учению А. А. Ухтомского, доминанта — это определённый главенствующий фактор, от которого зависят действия и мышление человека. Герой видит действительность, исходя из своих ценностных установок, и может не акцентировать внимание на некоторых положительных или негативных аспектах жизни. Комплекс неполноценности Печорина и мнительность Красинского соединяются в Парадоксалисте Достоевского. По мысли Ухтомского, эгоцентризм неизбежно приводит к тому, что человек приписывает окружающим то негативное, что обнаруживает в себе. Подобно Красинскому, герой «Записок из подполья» мечтает обратить на себя внимание офицера, отомстить ему за унижение, приписывает офицеру намерения, от которых тот достаточно далек. Достоевский передает Парадоксалисту аллюзию к роману Лермонтова. В словесном поединке с бывшим одноклассником, а ныне офицером Зверковым, Подпольный герой кричит: «Прельщайте черкешенок, стреляйте врагов Отечества» [Достоевский 5: 146].

Достоевский в образе Парадоксалиста показывает петербургского жителя, близкого Печорину и одновременно Красинскому, при этом происходит дегероизация лермонтовского «героя нашего времени». «Записки из подполья» перекликаются с главой «Княжна Мэри». Парадоксалист «мнителен и обидчив», как и герои Лермонтова [Достоевский 5: 102]. Он, как и Печорин в «Княгине Лиговской», испытывает ненависть к другому за то, что он красив [Достоевский 5: 135]. Общим становится мотив «игры» в любовь и стремление покорить сердце женщины. Парадоксалист замечает при этом: «Игра, игра увлекала меня; впрочем, не одна игра» [Достоев-

ский 5: 162]. Оба героя признаются в своих записках, что испытывают наслаждение от чувства господства над душой другого человека. Печорин пишет в дневнике: «...есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распутившейся душой» [Лермонтов: 294]. Парадоксалист признается в потребности «чувства господства и обладания» [Достоевский 5: 175]. Финал любовной истории также близок: герои разоблачают себя сами. Происходит корреляция даже на лексическом уровне. Печорин говорит княжне Мэри: «...Вы знаете, что я над Вами смеялся» [Лермонтов: 337]. Парадоксалист бросает в лицо Лизе: «Я тогда смеялся над тобой» [Достоевский 5: 173]. Реакция героинь на это саморазоблачение также похожа: губы Мэри «слегка побледнели» [Лермонтов: 313], Лиза «побледнела, как платок» [Достоевский 5: 175].

Сопоставление Печорина и Парадоксалиста с Наполеоном раскрывает их самолюбие, которое становится болезнью. Подпольный герой мечтателен и часто представляет себя в роли Наполеона: «...иду босой и голодный проповедывать новые идеи и разбиваю ретроградов под Аустерлицем» [Достоевский 5: 133]. После убийства Грушницкого Печорин, по собственному замечанию, засыпает сном Наполеона после Ватерлоо [Лермонтов: 335].

Мотив зеркала в произведениях Лермонтова и Достоевского связан со стремлением героя посмотреть на себя со стороны, со способностью к саморефлексии. Перед дуэлью Печорин смотрит в зеркало и остается «доволен собою», поскольку его глаза «блистали гордо и неумолимо» [Лермонтов: 322]. В «Записках из подполья» герой перед встречей с Лизой видит себя в зеркале и ужасается: «Я случайно погляделся в зеркало. Взбудораженное лицо мое мне показалось до крайности отвратительным» [Достоевский 5: 151].

Печорин и Парадоксалист замыкаются в себе, но могут преодолеть свою замкнутость. Печорин, узнав об отъезде Веры, пытается ее догнать, понимая, что потерял ее. Парадоксалист сначала забивается в угол, отдав деньги Лизе, а затем бежит за ней на улицу: «Я вдруг подбежал к ней, схватил ее руку, разжал ее, вложил... и потом опять зажал. Затем тотчас же отвернулся и отскочил поскорей в другой угол» [Достоевский 5: 176], «Мгновение спустя, я, как безумный, бросился одеваться, накинул на себя, что успел впопыхах, и стремглав выбежал за ней» [Достоевский 5: 177].

Объединяет героев Лермонтова и Достоевского также то, что они сами знают «диагноз» своей болезни. Печорин берет на себя смелость сказать от лица своего поколения: «Мы неспособны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья» [Лермонтов: 343]. Парадоксалист также признается в том, что у подобных людей нет будущего: «Мы мертворожденные, да и рождаемся-то давно уж не от живых отцов, и это нам все более и более нравится» [Достоевский 5: 179].

Однако в произведениях Лермонтова и Достоевского существует «московский текст», который связан с храмами и колокольным звоном. В «Панораме Москвы» Лермонтов утверждает, что древнерусская столица имеет «свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный!..» Он создает образ Москвы как соборного града: «Едва проснется день, как уже со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов, подобно чудной, фантастической увертюре Беетговена» [Лермонтов: 369]. В романе «Княгиня Лиговская» Печорин ощущает свою связь с Москвой. Когда дипломат на вечере у Лиговских спрашивает его, согласен ли он, что «Москва только великолепный памятник, пышная и безмолвная гробница минувшего», Печорин отказывается отдать преимущество Петербургу, объясняя это своим патриотическим чувством: «Москва моя родина» [Лермонтов: 161–162]. Этот герой вместе с Верой способен ощущать красоту православного богослужения. Автор замечает, что во время всенощной службы «дивный хор монахов и голос отца Виктора погружал их в безмолвное умиление» [Лермонтов: 156].

Дж. Гивенс обратил внимание на то, что из-за цензуры десятая глава повести «Записки из подполья» была сокращена. По первоначальному замыслу писателя, герой повести должен был «перейти из ада подпольного человека с его произволом, злобой и саморазрушительным солипсизмом к более высокому понятию иррационализма, воплощенному в жертвенной любви Христа» [Гивенс: 76].

В черновиках к роману Достоевского «Подросток» (1875) проступают жанровые черты романа-путешествия. Главный герой и рассказчик Аркадий Долгорукий отправляется в путешествие из Москвы в Петербург, по дороге он встречает Лизу, и начинаются его испытания. В окончательном варианте романа Подросток, так же, как Маленький герой и Нечочка, получает в руки чужое письмо, от

которого зависит судьба другого человека. Подобно своим предшественникам, Аркадий влюбляется в Ахмакову, он видит в ней свой идеал. Однако герой, в отличие от ранних мечтателей Достоевского, не спешит ей на помощь. В его душе сталкиваются противоположные чувства — любовь-обожание и страсть, жажда власти над другой душой. В этом он напоминает Печорина и Подпольного героя. Аркадию снится пророческий сон. Он видит сцену с Ахмаковой (она произойдет в финале романа, но на его месте будут Ламберт и Версиллов — «двойники» героя) и чувствует в себе «душу паука» и «развратное сердце» [Достоевский 13: 306]. Затем сон с пауками видит младший князь Сокольский, который также оказывается «двойником» героя [Достоевский 13: 335].

Аркадий Долгорукий, как и Раскольников, несет в себе идею, смысл которой — «уединенное и спокойное сознание силы» [Достоевский 13: 74]. Этот герой тоже не без великодушия: «Я отдам все мои миллионы людям, пусть общество распределит там все мое богатство, а я — я вновь смешаюсь с ничтожеством!» [Достоевский 13: 76]. Подобно главному герою «Преступления и наказания», Аркадий делает «пробу» [Достоевский 13: 39] и выбирает «уединение». Его комната напоминает «гроб», как и комната Раскольникова [Достоевский 13: 101].

Близок к Печорину еще один герой романа — князь Сокольский-младший, который сравнивает себя с оторванным листком — это лермонтовский образ. Князь Сережа несет в душе почвеннический идеал (соединение сословий, служение Отечеству), но не может его реализовать из-за страстей, которые становятся сильнее желания спасения.

Аркадий Долгорукий хочет верить, подобно Печорину и Раскольникову, в свою избранность: во время аукциона его как будто чья-то рука вела, карточную игру он сравнивает с рулеткой, верит в свою звезду. Только личная и семейная катастрофа меняет вектор движения Подростка, вынуждает его отказаться от идеи Ротшильда и идти к обретению соборной идеи, к пониманию своего назначения и к подлинной свободе. В ситуации испытания, когда Аркадий готов совершить поджог города, ему снится мать Софья Андреевна, которая молится за него Николаю Угоднику и Пресвятой Богородице, он слышит колокольный звон московского храма и вспоминает голубя,

перелетевшего через купол во время его причащения в детстве [Достоевский 13: 272]. Он возвращается к своей духовной доминанте, которая была сформирована в детстве. Помогает Аркадию восстановиться после падения Макар Долгорукий, который вызывает у него ощущение благообразия. Пасхальный рассказ Макара Ивановича о купце Скотобойникове содержит телеологический сюжет.

В финале говорится о Великом посте, о «новой жизни» и «новом пути» Подростка [Достоевский 13: 451]. Путь Подростка — это движение от идеи Ротшильда, мечты об «уединении и могуществе» к противоположной идее нестяжания и соборности, носителем которой является Макар Долгорукий. Кроме того, Аркадий думает о продолжении образования. В черновиках к роману Достоевский ищет соединение идей Макара Долгорукого и Версилова: «Макар. Христа познай и Его проповедай, а делами пример подавай, и будет незыблемо. Тем всему миру даже послужишь. — Правда, — говорит Версилов, — Европа ждет от нас Христа. Она нам науку, а мы им Христа (в этом назначение России)» [Достоевский 16: 141].

В черновике к роману «Подросток» есть запись: «Да ты образи себя прежде, да и каждое дело свое» [Достоевский 16: 178]. По замыслу Достоевского, главный герой должен испытать состояние духовного преображения: «Молодой человек (великий грешник) после ряда прогрессивных падений вдруг становится духом, волей, светом и сознанием на высочайшую из высот» [Достоевский 16: 7].

Традиционный роман XIX в., представленный образцовыми произведениями Лермонтова и Достоевского, обращает читателя к спасению. Мечтатели и Подпольные герои Лермонтова и Достоевского представлены как динамические личности, способные к изменению. В духовном возрастании личности важнейшую роль играют предание и символы, которые сохраняются в Церкви (об этом размышлял А. А. Ухтомский). Сюжетные мотивы испытания и выбора героя, способного перенести доминанту на «лицо другого», приводят к расширению пространства героя, соединению временного и вечного в его сознании, символизации предметного мира (свет, храм, колокольный звон, голубь). Однако выбор может означать и самоутверждение героя, доминанта которого обращена к себе, что ведет к сужению его пространства, дискретности его времени. В этом случае он будет видеть вокруг себя «двойников». Символическим образом

«двойника» становится зеркало. В процессе духовного очищения или духовного роста важна доминанта «на лицо другого». Такую доминанту несут герои Достоевского Софья Андреевна и Макар Иванович. Мир в идеале для Достоевского уподобляется семье или Церкви, обращенной к Евангельской Истине, и спасается Красотой Христовой.

Список литературы
Источники

Добротолюбие в русском переводе: в 5 т. М.: Иждивением Русского на Афоне Пантелеймонова монастыря, 1895. Т. 2. 760 с.

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. СПб.: Наука, 1972–1990.

Лермонтов М. Ю. Сочинения: в 6 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. Т. 6: Проза. Письма; Летопись жизни и творчества / ред. Б. В. Томашевский. 900 с.

Исследования

Бахтин М. М. К исторической типологии романа // *Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 199–209.

Бочаров С. Г. Открыватель верхнего ряда русской прозы // Мир Лермонтова: коллективная монография / под ред. М. Н. Виролайнен и А. А. Карпова. СПб.: Скрипториум, 2015. С. 434–442.

Буланов А. М. Художественная феноменология изображения «сердечной жизни» в русской классике (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, И. А. Гончаров, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой). Волгоград: Перемена, 2003. 191 с.

Валагин А. П. Читал ли Достоевский «Княгиню Лиговскую»? // Достоевский. Материалы и исследования. Л.: Наука, 1978. Т. 3. С. 205–208.

Власкин А. П., Зайцева Т. Б. Аксиологическое содержание романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Гуманитарно-педагогические исследования. 2017. Т. 1, № 1. С. 108–114.

Гивенс Дж. Образ Христа в русской литературе: Достоевский, Толстой, Булгаков, Пастернак. СПб.: Academic Studies Press, 2021. 351 с.

Гиголов М. Г. Лермонтовские мотивы в творчестве Ф. М. Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. Л.: Наука, 1985. Т. 7. С. 64–72.

Захаров В. Н. «Смелость изобретения»: в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Проблемы исторической поэтики. 2014. № 12. С. 18–33.

Исупов К. Г. О метафизике Лермонтова // Мир Лермонтова: коллективная монография / под ред. М. Н. Виролайнен и А. А. Карпова. СПб.: Скрипториум, 2015. С. 42–50.

Криницын А. Б. Исповедь подпольного человека: К антропологии Достоевского. М.: Диалог МГУ: МАКС Пресс, 2001. 370 с.

Найдич Э. Э. Еще раз о «Штоссе» // Лермонтовский сборник. Л.: Наука, 1988. С. 194–212.

Одинокое В. Г. Типология образов в художественной системе Ф. М. Достоевского. Новосибирск: Наука, 1981. 144 с.

Осмоловский О. Н. Ф. М. Достоевский и русский роман XIX в. Орел: Орловский гос. ун-т, 2001. 336 с.

Силаджис Жюфия. Тайны Печорина (Семантическая структура образа героя в романе М. Ю. Лермонтова) // Slavica tergestina. 1995. № 3. С. 55–71.

Скафтымов А. П. Поэтика художественного произведения. М.: Высшая школа, 2007. 535 с.

Сливицкая О. В. «Идеальная встреча»: Лермонтов и Лев Толстой // Мир Лермонтова / под ред. М. Н. Виролайнен и А. А. Карпова. СПб.: Скрипториум, 2015. С. 51–67.

Соколова Л. В. А. А. Ухтомский и комплексная наука о человеке. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2010. 316 с.

Удодов Б. Т. «Герой нашего времени» // Лермонтовская энциклопедия / гл. ред. В. А. Мануйлов. М.: Сов. энциклопедия, 1981. С. 101–111.

Ухтомский А. А. Доминанта. СПб.: Питер, 2020. 512 с.

Федорова Е. А. Доминанта души и хронотоп Раскольникова: от «Двойника» к «Собеседнику» (по А. Ухтомскому) // Социальные и гуманитарные знания. 2016. Т. 2, № 4 (8). С. 327–332.

Храброва А. В. Поиск жанра в повестях «Штосс» и «Хозяйка»: к проблеме творческого взаимодействия позднего Лермонтова и раннего Достоевского // Вестник Томского университета. 2013. № 366. С. 16–19.

Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2008. 302 с.

Holk, A. G. F. Van. О глубинной структуре Печорина // Russian literature. Т. 31, № 4. 1992. С. 545–555.

References

Bakhtin, M. M. “K istoricheskoi tipologii romana” [“On the Historical Typology of the Novel”]. Bakhtin, M. M. *Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of Verbal Creativity]*. Moscow, Iskusstvo Publ., 1979, pp. 199–209. (In Russ.)

Bocharov, S. G. “Otkryvatel’ verkhnego riada russkoi prozy” [“The Discoverer of the Upper Row of Russian Prose”]. Virolainen, M. N., and A. A. Karpova, editors. *Mir Lermontova: kollektivnaia monografiia [The World of Lermontov: A Collective Monograph]*. St. Petersburg, Skriptorium Publ., 2015, pp. 434–442. (In Russ.)

Bulanov, A. M. *Khudozhestvennaia fenomenologiiia izobrazheniia “serdechnoi zhizni” v russkoi klassike (A. S. Pushkin, M. Iu. Lermontov, I. A. Goncharov, F. M. Dostoevskii, L. N. Tolstoi) [Artistic Phenomenology of the Image of “Heart Life” in Russian Classics (A. S. Pushkin, M. Yu. Lermontov, I. A. Goncharov, F. M. Dostoevsky, L. N. Tolstoy)]*. Volgograd, Peremena Publ., 2003. 191 p. (In Russ.)

Valagin, A. P. “Chital li Dostoevskii ‘Kniaginiu Ligovskuiu?’” [“Did Dostoevsky Read ‘Princess Ligovskaya?’”]. *Dostoevskii. Materialy i issledovaniia [Dostoevsky. Materials and Research]*, vol. 3. Leningrad, Nauka Publ., 1978, pp. 205–208. (In Russ.)

Vlaskin, A. P., and T. B. Zaitseva. “Aksiologicheskoe sodержanie romana M. Iu. Lermontova ‘Geroi nashego vremeni.’” [“The Axiological Content of M. Yu. Lermontov’s Novel ‘A Hero of Our Time.’”]. *Gumanitarno-pedagogicheskie issledovaniia*, vol. 1, no. 1, 2017, pp. 108–114. (In Russ.)

Givens, Dzh. *Obraz Khrista v russkoi literature: Dostoevskii, Tolstoi, Bulgakov, Pasternak [The Image of Christ in Russian Literature: Dostoevsky, Tolstoy, Bulgakov, Pasternak]*. St. Petersburg, Academic Studies Press, 2021. 351 p. (In Russ.)

Gigolov, M. G. “Lermontovskie motivy v tvorchestve F. M. Dostoevskogo” [“Lermontov’s Motifs in F. M. Dostoevsky’s Works”]. *Dostoevskii. Materialy i issledovaniia [Dostoevsky. Materials and Research]*, vol. 7. Leningrad, Nauka Publ., 1985, pp. 64–72. (In Russ.)

Zakharov, V. N. ““Smelost’ izobreteniiia’: v romane M. Iu. Lermontova ‘Geroi nashego vremeni.’” [““Courage of Invention’: In the Novel by M. Yu. Lermontov ‘A Hero of Our Time.’”]. *Problemy istoricheskoi poetiki*, no. 12, 2014, pp. 18–33. (In Russ.)

Iupov, K. G. “O metafizike Lermontova” [“On Lermontov’s Metaphysics”]. Virolainen, M. N., and A. A. Karpov, editors. *Mir Lermontova: kollektivnaia monografiia [Lermontov’s World: A Collective Monograph]*. St. Petersburg, Skriptorium Publ., 2015, pp. 42–50. (In Russ.)

Krinityn, A. B. *Ispoved’ podpol’nogo cheloveka: K antropologii Dostoevskogo [Confessions of an Underground Man: On the Anthropology of Dostoevsky]*. Moscow, Dialog MGU: MAKS Press, 2001. 370 p. (In Russ.)

Naidich, E. E. “Eshche raz o ‘Shtosse.’” [“Once Again about ‘Shtoss.’”]. *Lermontovskii sbornik [Lermontov’s Collection]*. Leningrad, Nauka Publ., 1988, pp. 194–212. (In Russ.)

Odinokov, V. G. *Tipologiiia obrazov v khudozhestvennoi sisteme F. M. Dostoevskogo [Typology of Images in the Artistic System of F. M. Dostoevsky]*. Novosibirsk, Nauka Publ., 1981. 144 p. (In Russ.)

Osmolovskii, O. N. *F. M. Dostoevskii i russkii roman XIX v. [F. M. Dostoevsky and the Russian Novel of the 19th Century]*. Orel, Orel State University Publ., 2001. 336 p. (In Russ.)

Siladi, Zhofia. “Tainy Pechorina (Semanticheskaja struktura obraza geroja v romane M. Ju. Lermontova)” [“Secrets of Pechorin (The Semantic Structure of the Character’s Image in M. Yu. Lermontov’s Novel)”]. *Slavica tergestina*, no. 3, 1995, pp. 55–71. (In Russ.)

Skaftymov. A. P. *Poetika khudozhestvennogo proizvedeniia* [Poetics of a Work of Art]. Moscow, Vysshaja shkola Publ., 2007. 535 p. (In Russ.)

Slivitskaia, O. V. “Ideal’naia vstrecha: Lermontov i Lev Tolstoi” [“Perfect Meeting’: Lermontov and Leo Tolstoy”]. Virolainen, M. N., and A. A. Karpov, editors. *Mir Lermontova: kollektivnaia monografiia* [Lermontov’s World: A Collective Monograph]. St. Petersburg, Skriptorium Publ., 2015, pp. 51–67. (In Russ.)

Sokolova, L. V. A. A. *Ukhtomskii i kompleksnaia nauka o cheloveke* [A. A. Ukhtomsky and the Complex Science on Human]. St. Petersburg, St. Petersburg University Publ., 2010. 316 p. (In Russ.)

Udodov, B. T. “Geroi nashego vremeni” [“The Hero of Our Time”]. Manuilov, V. A., editor. *Lermontovskaia entsiklopediia* [Lermontov Encyclopedia]. Moscow, Sovetskaja entsiklopediia Publ., 1981, pp. 101–111. (In Russ.)

Ukhtomskii, A. A. *Dominanta* [Dominant]. St. Petersburg, Piter Publ., 2020. 512 p. (In Russ.)

Fedorova, E. A. “Dominanta dushi i khronotop Raskol’nikova: ot ‘Dvoinika’ k ‘Sobesedniku’ (po A. Ukhtomskomu)” [“Dominant of the Soul and Raskolnikov’s Chronotope: From the ‘Double’ to the ‘Interlocutor’ (According to A. Ukhtomsky)”]. *Sotsial’nye i gumanitarnye znaniia*, vol. 2, no. 4 (8), 2016, pp. 327–332. (In Russ.)

Khrabrova, A. V. “Poisk zhanra v povestiakh ‘Shtoss’ i ‘Khoziaika’: k probleme tvorcheskogo vzaimodeistviia pozdnego Lermontova i rannego Dostoevskogo” [“The Search for a Genre in the Stories ‘Stoss’ and ‘The Mistress’: To the Problem of Creative Interaction between Late Lermontov and Early Dostoevsky”]. *Vestnik Tomskogo universiteta*, no. 366, 2013, pp. 16–19. (In Russ.)

Shmid, V. *Narratologiiia* [Narratology]. Moscow, Iazyki slavianskoi kul’tury Publ., 2008. 302 p. (In Russ.)

Holk, Andre G. F. Van. “O glubinnoi strukture Pechorina” [“On the Deep Structure of Pechorin”]. *Russian literature*, vol. 31, no. 4, 1992, pp. 545–555. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-72-89>
<https://elibrary.ru/TLMBPD>
Научная статья
УДК 821.161.1.09"19"

© 2023. А. Д. Ивинский

Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук
г. Москва, Россия

«Всякая всячина», Тредиаковский и «Фенелон»

Исследование выполнено в ИМЛИ РАН за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00375 «Русская литература: проблема мультилингвизма и обратного перевода», <https://rscf.ru/project/23-18-00375/>

Аннотация: Статья посвящена анализу перевода В. К. Тредиаковского «Истинной политики знатных и благородных особ» (1737). Данный текст, авторство которого часто приписывалось Ф. Фенелону, повлиял на развитие русской литературной журналистики 1760–1770 гг. Мы показываем, что Екатерина II во «Всякой всячине», а вслед за ней и другие издания, выходявшие в то время, учитывали контекст французских трактатов *savoir vivre* и использовали их ключевые идеи. При этом именно Тредиаковский оказался одним из первых, кто еще в 1730 гг. понял их роль для оформления идеологии абсолютизма. Это позволяет пересмотреть репутацию Тредиаковского как жалкого «шута» или даже «дурака» русской литературы, труды которого оказались на обочине магистрального движения русской культуры.

Ключевые слова: Екатерина II, В. К. Тредиаковский, Ф. Фенелон, «Всякая всячина», перевод, журналистика, французские трактаты.

Информация об авторе: Александр Дмитриевич Ивинский, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25 а, 121069 г. Москва, Россия

E-mail: ivinskij@gmail.com

Дата поступления статьи в редакцию: 10.04.2023

Дата одобрения статьи рецензентами: 12.05.2023

Дата публикации статьи: 25.06.2023

Для цитирования: Ивинский А. Д. «Всякая всячина», Тредиаковский и «Фенелон» // Два века русской классики. 2023. Т. 5, № 2. С. 72–89. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-72-89>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 72–89. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 72–89. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2023. Alexander D. Ivinskiy

A. M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia

“All Sorts of Things,” Trediakovsky and “Fenelon”

Acknowledgments: This work was carried out at IWL RAS with financial support of the Russian Science Foundation, project no. 23-18-00375 “Russian literature: the problem of multilingualism and back translation” (<https://rscf.ru/project/23-18-00375/>).

Abstract: The article is devoted to the analysis of V. K. Trediakovsky’s translation of “The True Politics of Noble Persons.” This text, the authorship of which was often attributed to F. Fenelon, influenced the development of Russian literary journalism in 1760–1770s. We show that “All Sorts of Things” (“Vsiakaia Vsiachina”) and the other literary magazines used the key ideas of *savoir vivre* ideology. At the same time, it was Trediakovsky who was one of the first, back in 1730s, who understood their role in shaping the ideology of absolutism. The new facts and interpretations make it possible to reconsider Trediakovsky’s reputation as a pathetic “buffoon” or even a “fool” of Russian literature, whose works were on the sidelines of the main movement of Russian culture.

Keywords: Catherine II, V. K. Trediakovsky, F. Fenelon, “All sorts of things,” translation, journalism, French treatises.

Information about the author: Aleksandr D. Ivinskiy, PhD in Philology, Senior Researcher, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25 a, 121069 Moscow, Russia

E-mail: ivinskij@gmail.com

Received: April 10, 2023

Approved after reviewing: May 12, 2023

Published: June 25, 2023

For citation: Ivinskiy, A. D. “‘All Sorts of Things,’ Trediakovsky and ‘Fenelon.’” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 72–89. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-72-89>

История литературных взаимоотношений Екатерины II и В. К. Тредиаковского до сих пор не написана, в ней много лакун, умолчаний или допущений. Так, например, сохраняет определенную актуальность концепция А. С. Орлова, который пространно рассуждал о конфликте отважного просветителя и власти, создавшей ему репутацию бездарного стихоплета [Орлов 1935: 5–55]. Позднее И. Рейфман проанализировала «репутацию» Тредиаковского — «неудачника» или даже «шута» [Болховитинов 1845: 221] — и показала поспешность интерпретаций, согласно которым произведения автора «Тилемахиды» остались на обочине магистральных процессов русской культуры [Рейфман 1990]. Действительно, процесс рецепции наследия Тредиаковского в екатерининскую эпоху не нужно упрощать. Мы уже показывали ранее, что Екатерина II, несмотря на все насмешки, активно использовала его труды для оформления своей исторической концепции [Ивинский 2012: 34–45].

Цель данной статьи — обсудить возможность уточнения наших представлений о месте Тредиаковского в культурной политике Екатерины II. В фокусе нашего внимания перевод Тредиаковского «Истинной политики знатных и благородных особ» [Истинная политика 1737], который, казалось бы, остался незамеченным современниками, но на самом деле значительно повлиял на развитие русской журналистики и литературы. Этот текст неоднократно переиздавался, при императрице Елизавете Петровне один раз (1745), в правление Екатерины II — не менее трех (1764, 1765, 1787), что, очевидно, свидетельствует о его востребованности у читающей публики и актуальности для культурной политики императрицы. Объясняется это и особым статусом произведения: под одной обложкой оказались собраны имена ключевых фигур русского и французского просвещения — Тредиаковского и Франсуа Фенелона. При этом сразу нужно отметить, что Фенелон не писал «Истинную политику» и текст был ему приписан по ошибке. Настоящий ее автор — Н. Р. де Кур (Nicolas Remond Des Cours, ум. в 1716 г.), который

напечатал трактат в Париже в 1692 г. (Cours 1692). Тредиаковский оговорил в предисловии к переводу, что не уверен в авторстве Фенелона, однако прозрачно на это намекнул, связав для нескольких поколений этот текст с прославленным философом:

Правила, которые вам, почтеннейший читатель, в сей малой книге предлагаются, сочинены и изданы впервые на французском языке. И хотя несравненный автор оных неведом, и токмо по некоторым обстоятельствам есть причина помышлять, что то славный оный Фенелон, архиепископ Комбрейский, бывший учитель детей короля французского <...> [Истинная политика 1737].

Перевод трактата, написанного учителем детей французского короля, возможно, проясняет претензии самого Тредиаковского на более значительную роль при русском дворе, чем та, которую он играл во второй половине 1730-х гг. Научить аристократов правилам *savoir vivre* и застолбить за собой роль одного из законодателей интеллектуальных мод — вот задача, которую ставил перед собой Тредиаковский [Успенский 2008].

Нам уже приходилось писать о зависимости «Всякой всячины» и — шире — русской литературной журналистики 1760–1770 гг. от французских учебников жизни в высшем свете: мы исходим из того, что периодические издания того времени не только и не столько «обличали нравы» или «боролись с властью», сколько конструировали идеологию и *modus vivendi* русского честного человека, который должен был стать частью нового имперского проекта Екатерины II [Ивинский 2015; 2017; 2019]. Перевод Тредиаковского в этом смысле не отличается какой-либо оригинальностью, напротив, он интересен именно как набор общих мест. Важна совсем не «новизна» идей, а факт конструирования языка для обсуждения этих идей. Тредиаковский показал, что на русском языке можно обсуждать идеологию *honnête homme*, и в этом контексте Екатерина II, запуская свой журнальный проект и претендуя на роль большого русского автора, вольно или невольно оказывалась его «наследницей». Ниже мы покажем, что в «Истинной политике» мы найдем практически все основные сюжеты, которые обсуждались журналистикой 1760–1770 гг.¹

¹ Мы ограничиваемся только самыми необходимыми ссылками на соответствующие места в русских журналах екатерининского времени и

Одна из важнейших идей де Кура — представление о дворе как особом мире, полном опасностей, вызовов и соблазнов. В одном месте жизнь аристократа сравнивается с театральным представлением, комедией:

Двор <...> подобен есть комедиям: любовь и славолубие во всех на театрах представляемых действиях находятся, однако хитрости оных весьма различны: а герои и любовники оных комедий не все одним путем идут к получению своего желания. Так славолубие, любовь и другие страсти пребывают всегда при дворе, но не таким способом ныне в них поступают, каким все поступали прежде сего. Не упоминая того, что нынешние люди искуснее и хитрее, еще следуют они при дворе и иным правилам. Итак, надлежит нам примечать обычаи, поступки и свойство нашего века, не для того, чтоб удовольствовались порочные наши страсти, но для того, чтоб лучше знать, как поступать с людьми и обращаться в делах, чтоб познаваться о тайных побуждающих причинах, каковы могут иметь те особы, с которыми у нас дело; наконец, чтоб уведать, каким способом можно жить в согласии со всеми и исполнить свои намерения [Истинная политика 1737: 95–96].

В другом месте де Кур писал, что «двор долженствует почитаться за неприятельскую страну, в которой премножество сетей поставлено, чтоб нас уловить» [Истинная политика 1737: 164].

Чтобы выжить при дворе и добиться больших результатов, аристократ должен досконально знать все нюансы правильного поведения, в котором нет мелочей. Поэтому уже в третьем «правиле» де Кур рассуждал о пользе воспитания:

Дети без сомнения не правы, когда они не имеют к своим родителям должного почтения и послушания; но родители, которые не стараются о добром воспитании своих детей, еще и больше виноваты. Ибо можно сказать, что от воспитания происходит почти всегда счастье или несчастье в жизни. Злая природа изобильный есть источник всех пороков, буде нет прилежного тщания к исправлению оной и к превращению ее в добро.

указываем наши специальные работы, в которых эти вопросы уже подробно обсуждались.

<...> Мы часто видим, и чаще нежели желали, печальные следствия, которые происходят от худого воспитания. Молодой человек, будучи худо воспитан и не имея ни знания, ни достоинства, ни к какому делу не может быть годен: страсти, по которым он поступает, понуждая его к расточению своего имени и к погублению всего токмо для своего удовольствия, приводят его в презрение и в ненависть всему свету: непорядочное его житие всегда наводит на него печальные случаи, а иногда так сие далеко распространяется, что он вводит в бесславие всю фамилию и собственную свою честь погубляет навеки [Истинная политика 1737: 18–19]¹.

Здесь мы видим мысль, с которой уже встречались и еще встретимся вновь: честный человек должен подавлять свои страсти, обуздывать себя правильным воспитанием, в противном случае он обречен на поражение и в свете, и в частной жизни.

Воспитание и образование идут рука об руку: не раз де Кур подчеркивал, что аристократ должен изучать науки: «<...> великая есть утеха прилежать к наукам» [Истинная политика 1737: 21]. И далее: «... невозможно сомневаться, чтоб наука не была полезна знатному и благородному человеку...» [Истинная политика 1737: 21]. При этом изучение наук и самообразование не должны приводить к «гордости» и «высокомерию», честные люди не спорят, избегают любых крайностей, «горячности», это «неприлично»:

<...> однако не должно ему никогда неприличным образом величаться своею наукою, споровать с горячестью о всякой безделице, желать привести всех к своему мнению и говорить речью догматическою и повелительною: таковые поступки, грубым токмо учителям школьным приличные, безмерно не нравятся честным людям. Знание наук, украшающих разум, долженствует умягчать и очищать наши нравы, также вкоренять отчасу больше приятную в нас тихость и нелицемерное воздержание. Сие и видеть нам можно, что прямо ученые люди обыкновенно показывают много умеренности, смирения и благоразумного добронравия, ибо чем больше имеют они в себе просвещения, тем лучше знают они свои недостатки и должность [Истинная политика 1737: 28–29].

¹ Ср., напр.: [Всякая всячина 1769: 324–327; Полезное с приятным 1769. I: 5–9, 25–26; Трудолюбивый муравей 1771: 137–142].

Гордость — это фундаментальный вызов, с которым сталкивается аристократ: де Кур подчеркивает, что именно она приводит к «восстаниям» и междоусобицам:

Восстающие на своих государей напрасно обвиняют их насилием и тиранством: гордость, которая таковых ослепляет, препятствует им помышлять, что Бог повелевает нам повиноваться верховнейшим властителям, поставленным над нами, хотя бы они и в зло употребляли свою власть и силу, разве принуждали бы нас то делать, чего оный не повелевает; что гражданские законы всегда и везде обвиняют мятежные сопротивления, под каким бы они видом ни могли быть; и что, наконец, известно сие чрез искусство всех веков, что страшные напасти, которые приключаются от междоусобных браней и от замешательства подданных, без сравнения больше тех бывают, каковы не весьма справедливый государь принуждает иногда терпеть свой народ. <...> Но, о, благополучное то государство, в котором государь жалует своих подданных, как детей, а подданные почитают его, как отца! О, счастливая та держава, в которой самодержец печется токмо о благополучии своего народа, а народ старается, чтоб быть достойну того попечения, которое воспримлет для его собственной пользы! [Истинная политика 1737: 32–33, 34]¹.

Важнейшим для аристократа является «искусство нравиться», *l'art de plaire*, которое является ключом к успеху в свете. Де Кур писал о том, что дух нужно «умягчать», тогда «доброжелательство» и «добродетель» победят, а «искренность» откроет, казалось бы, закрытые двери:

Нет ничего полезнейшего в мирском обхождении, как уметь приходиться у всех в любовь. И поистине тот, кто который умеет склонять к себе сердца, не много таких дел предприимлет, в которых бы ему не удавалось, потому что везде он себе находит защитников и друзей. Но как войти в сердце, может быть, кто скажет? <...> честные и учтивые поступки особливым к тому способом служат: оные умягчают его дух, делая при том покорным и вкрадывающимся; оные не допускают нас досаждать другим; оные нас склоняют к согласию с их нравом и охотою, сколько должность позволить нам может: угождение и почтение, которые мы чрез оные имеем к тем, с которыми совокупно пребываем, приобретают нам у них доброжелатель-

¹ Ср., напр.: [Смесь 1769: 115].

ство. Искренность также служит много к получению нам дружбы и надежды на нас от тех, с которыми мы обходимся, только бы с сею добродетелию всегда неразлучны были доброе рассуждение и осторожность. Нрав, к благодеянию склонный, есть также неложный способ, чтоб войти в сердце, ибо когда человек прославится быть услужливым и добросклонным, то всяк чувствует охоту, чтоб его любить, прежде нежели он знает ему будет, а присутствие его то совершает, что его слава начала прежде. К сим средствам надлежит еще прибавить одно, в котором все выше помянутые некоторым способом заключаются, то есть: буде вы хотите любим быть от других, то извольте их прежде любить, показывать склонность и отдавать им почтение [Истинная политика 1737: 45–47].

Изучившие науки и впитавшие правила поведения могут называть себя «честными людьми». Де Кур, как и позднее Екатерина, подчеркивал, что аристократ должен доказать свою «профпригодность», а двор — это мир, в котором действуют, наравне с другими, принципы меритократии:

Лучше бы знатному и благородному человеку весьма лишиться своей жизни, нежели потерять свою честь чрез некоторое бесчестное или злое дело. Чем больше его порода знатна и высока, тем больше он виноват, ежели не будет подобен в добродетелях своим предкам. <...> Но что благородные люди выше почитаются подлых, сие бывает для того, понеже полагают, что они имеют достойные дарования своей высокой породы. Добрая совесть, щедрое великодушие, бодряя храбрость, нелицемерная верность к своему государю и совершенная ревность к общей пользе — такие знаки, которые должны разделять их от прочих. <...> пусть они (молодые люди. — А. И.) ведают, что в нынешнее время чрез нее (добрую славу. — А. И.) сыскивается милость в государе и производятся люди в высокие чины в армии и при дворе; она токмо прославляет во всяком человеке достоинство и приводит оное в честь повсюду; чрез нее токмо, наконец, сыскать себе можно истинных друзей и от всех приемлему быть приятно. Напротив того, бездельный и недобрый человек и который почитается за такового, везде бывает ненавидим и в презрении, все от него бегают, и никто не хочет с ним иметь дружбы. Такому не надлежит себе ожидать милости от государя или от какого министра: кого не любят, того редко производят и, следовательно, на него не надеются. Итак, нет надежды к получению милости

и к произведению себя в чины такому человеку, который живет бесчестно [Истинная политика 1737: 49–52].

Однако аристократ не может получить все нужные знания из книг, «обхождение с разумными людьми» довершат его образование и готовят к жизни при дворе:

Надлежит, дабы он (благородный человек. — *А. И.*) обхождение имел с самыми разумными людьми; также должно ему иметь и у себя искусного человека, который <...> научит его нечувствительно в дружеских разговорах всему тому, что разные сии знания заключают в себе изряднейшего и нужнейшего [Истинная политика 1737: 85–86].

Честный человек должен распоряжаться своим временем эффективно: изучение нового, чтение, рефлексия, нравственность — приводят к успеху при дворе; напротив, невежественных людей, которые стремятся только к роскоши и в результате живут «непорядочно», презирают:

Сие весьма известное есть средство, которое всякому может служить к наслаждению несколько спокойствием в сей жизни и к получению блаженства по смерти, когда кто на добро употребляет свое время. Для сего, кажется мне, должно чинить сие: надлежит упражняться в учении всякому по своему намерению и состоянию; читать с избранием и порядочно; размышлять благовременно; любить правду и во всем ей следовать. <...> Напротив того, все презирают таких, которые, убегая от честного и полезного труда, упражняются токмо в искании себе роскошей. Но как обыкновенно такие люди пребывают в глубоком незнании своих должностей и которые нимало не размышляют о себе самих, то нечувствительно приходят они в непорядочное житие, которое, испортивши их сердце, портит также и разум, и приводит их к нечестью и самовольству во мнениях, так что их жизнь из бесполезной, какова она была вначале, становится напоследок порочная и почти всегда бывает несчастливая [Истинная политика 1737: 70–71].

Думать, по мнению де Кура, нужно не только об эффективном распоряжении временем, но и деньгами: мотовство — один из главных недостатков современного дворянина:

Сие, всеконечно, есть нужно, чтоб равномерен был расход приходу, буде кто хочет содержать себя честно в свете. Весьма худо почитаются те люди, которые расточают свое имение и всегда окружены бывають заимодавцами. <...> Государь и его министры легко рассудить могут, что, кто не умеет хранить своего добра и порядочно исправлять домовные свои дела, тот не может охранять государственные пользы, командовать армиями или учредить добрый порядок в провинциях. От сего происходит, что расточающие весьма сверх своего прихода, чтоб удовольствовать некоторую господствующую страсть, как, например, охоту, излишнее украшение в одежде, пьянственное и непорядочное житие, игру в карты, не производятся ни в какой знатный чин <...> [Истинная политика 1737: 120–121]¹.

В другом месте де Кур подробно остановился на проблеме роскоши: стремление к ней, с его точки зрения, — это поведение неразумное, компрометирующее аристократа и приводящее к его бесчестью. Более того, отказ от принципов, ограничивающих человеческую природу, приводит к «животному», «скотскому» состоянию; отметим, что это одна из важнейших идей, которая проводилась в русской журналистике и литературе той эпохи (достаточно вспомнить фонвизинского Скотинина):

Есть такие люди, которые отдаются своим роскошам толь сильно, что они погуляют свое здравие, а иногда теряют и жизнь чрез непорядочное свое житие. <...> Как они могут назваться и разумными людьми, для того что в употреблении роскошей выходят из пределов, которые полагает им разум? Можно ль сказать, что они и человеки, понеже чрез свои поносные и чрезмерные непорядки самих себя в бесчестие и скотство приводят; а имея меньше воздержания, нежели все прочие животные, становятся некоторым способом ниже еще наипоследнейших скотов, которые ничего не делают сверх того, что им нужно к своему сохранению? Чтоб не впасть в толь странные и бесчестные непорядки, надлежит нам употреблять умеренно и без пристрастия оные роскоши, которые разум и божественный закон позволяют [Истинная политика 1737: 80–81].

¹ Ср., напр.: [Всякая всячина 1769: 81–82].

К теме «зверства» де Кур вернулся в правиле XLV, в котором он обличал ненависть и показывал, как она противоречит природе придворного:

Не хотящие упорно примириться с своими неприятелями объявляют о себе, что они мало имеют закона и что их природа походит на свирепых зверей, которых слепая ярость не может удовлетвориться, пока не растерзает всего попавшего себе животного. Ненависть редко входит в доброе сердце <...> [Истинная политика 1737: 130–131].

Кроме того, находим в «Истинной политике» уже знакомые нам насмешки над болтунами, которые не понимают, как они скучны и как «жить на свете». *Honnête homme* говорит мало, слушает других, относится к ним с уважением:

Все люди хотят показать себя в разговорах: тщатся они изъяснить весь свой разум и знание; итак, весьма они желают, чтоб их слушали. От сего происходит, что ежели вы мало говорите и будете внятно слушать других, что они говорят, то вы, конечно, им понравитесь. Кажется, что тот, кто говорит мало, ставит тех, с которыми он разговаривает, за незнающих, которых он научить хочет. Того ради говорливые люди всегда почитаются за таких, которые очень хорошее мнение о себе имеют. Всяк их прилежно обещает, потому что они утруждают долгими своими разговорами, частыми об одной вещи повторениями и скучными подробностями, в которые они вступают. Разумный человек и который знает, что то есть жить на свете, слушает со вниманием все, что ни говорят другие; сам он говорит мало, но всегда кстати и очень осторожно, а особливо о нежных и важных материях. Таковым способом, не объявляя своего мнения, разве собственное ему рассуждение присоветует и благопристойность к тому его принудит, уведомляется он о мнении других и познавает, какого состояния их разум; сверх того, убегают он от погрешений, в которые обыкновенно приходят такие люди, которые говорят много [Истинная политика 1737: 72–74].

Обличал де Кур и лицемерие — еще одно общее место литературной журналистики екатерининской эпохи:

Правило ХХІХ. Не иметь ни в чем притворности.

Всякая притворность не только не умножает блистания в красоте, но еще и уменьшает оные сияние и делает в наистатнейших особах вид несвободный, который никогда приятен не бывает [Истинная политика 1737: 92].

См. в другом месте:

<...> чрезмерное ласкание всегда им (принцам и знатым особам. — А. И.) не нравится: они презируют ласкателей, как людей подлого духа, от которых всякие непотребства чинятся без труда, когда видят след к своей пользе <...> [Истинная политика 1737: 62].

Отдельно остановимся на том, как де Кур трактовал остроумие. Он последовательно разграничил шутки, которые должны веселить окружающих, — это, с его точки зрения, презренное шутовство, недостойное знатного человека, и светское остроумие, учтивое и благопристойное:

<...> мне кажется, что привычка к шуткам не прилична есть знатному и благородному человеку. Надобно оставить подлым людям, чтоб они веселили компании. Ежели они нечто приятное говорят, то их повалют, а буде ни к чему годное, то над ними смеются: все ж сие никакой не имеет важности. Но знатные люди чрез породу или чрез достоинства унижают себя, когда они хотят шутить, и приходят в презрение тем, которые у них слушают. Должность сия очень подла и низка, чтоб смешить других, разве бы то могло быть по случаю и так, чтоб не казалось, что нарочно было искано увеселительное слово. Однако я не столь угрюмые жестокости, чтоб я хотел прогнать веселую забаву из общества знатных людей. Пусть они шутят, но чтоб шутка была никому не обидна и так же бы остроумна и благородна. Пусть увеселяют разговоры словами, исполненными живого жара и веселости, но чтоб оные слова всегда были приличны достоинству того, кто говорит, чтоб они были точны и нежны и чтоб никогда не повреждали ни учтивства, ни благопристойности [Истинная политика 1737: 105–106]¹.

Очевидно, что здесь мы видим один из источников представлений Екатерины II о «мягком» юморе, не нарушающем светских порядков.

¹ Ср., напр.: [Всякая всячина 1769: 32, 44].

К этому же примыкают рассуждения де Кура о насмешках и клевете, для него игнорирование приличий — это проявление «сатирического духа»:

Сие есть жесткое увеселение, которое имеют в досадной насмешке. Превеликое надлежит быть в том человеке злости, которому нравится терзать такими насмешками сердце тех людей, на которых он нападает, и радоваться, что он их привел в крайнее затруднение. Того ради закон, учтивство и благоразумие принуждают нас, чтоб мы не имели в наших беседах таких ядом растворенных разговоров, которые не только худы сами в себе, но еще могут иметь и весьма вредительные следствия. Клевета также чтоб не имела части в сообществах наших: сие есть незаконное нарушение верности, когда кто зло говорит о своих друзьях; сие есть прямая злость, когда кто хулит таких, до которых ему никакого нет дела, а сие есть великое бездельничество, когда кто клеветает на своих неприятелей. Не считая того, что особы, справедливо рассуждающие о вещах, не верят словам сатирического духа, еще и те сами, которых он обносит, платят ему дорого за увеселительные слова, которые он выговорил только для того, чтоб развеселить компанию. Клеветник иногда увеселяет, но всегда его боятся, и каждый его принимает за особливого себе неприятеля, потому что знают, что клевета не обходит никого и что самая чистая добродетель не может защититься от ее стрел [Истинная политика 1737: 125–126]¹.

«Сатира» оказывается в одном семантическом поле с такими словами, как «зло», «хула», «вредительные следствия», и противопоставлена «учтивству» и «благоразумию».

Напротив, аристократ должен избегать споров, отличаться умеренностью, снисходительностью и рассудительностью:

Правило XLIX. Удаляться от споров.

Причина всех споров долженствует быть познание правды, или сыскивая ее самую, или, нашедши оную, желая ее объявить другим. Но споримая

¹ Ср.: [Всякая всячина 1769: 401; Трутень 1769: 159–160, 175, 210, 254–255; Смесь 1769: 119, 132–133, 229–236, 319–320; И то и сию 1769. 24: 6–8; 45:2; Трутень 1769: 184; Адская почта 2013: 28–29, 115, 169–171, 200, 225–227; Полезное с приятным 1769. III: 21–22; Пустомеля 1770: 13; Вечера 1772: 40–41, 96–101 и мн. др.].

правда или бывает не весьма нужна, или противна склонностям тех, с какими людьми кто разговаривает, или не сходна с их застарелыми мнениями; буде сия правда есть не ведьма нужна, то на что столь споровать? для какой пользы в толикой жар приходить, чтоб ее вложить в их разум? не лучше ли иметь к ним разумное снисходительство, нежели не угодну быть оным чрез сопротивление, которое никакие не может учинить пользы? буде правда, к которой желается их привести, противна оных склонностям, то надобно стараться, чтоб им показать ту любезны, а чтоб возыметь в том успех, то тихость и учтивство весьма к тому нужны, спор и жар прений может все испортить, ибо сердце хочет быть приведено, а не принуждено. <...> Надобно наипаче нападать на такие затверделые мнения искусно, показывать им чрез твердые доводы, сколько есть худо их основание, и потом утверждать без пристрастия и с умеренностию правду противного своего мнения. Так то чинят знающие жить в свете, и таким-то способом ученые споры бывают полезны и приятны, буде найдутся упрямые люди и гневливые, то не надлежит с ними споровать: сие может их больше разгневать. В таком случае должно довольствоваться токмо познанием правды и сожалеть о тех, которые не хотят видеть сего света [Истинная политика 1737: 142–144]¹.

Таким образом, как мы уже указывали, во французских трактатах XVII в., в том числе в книге де Кура намечена парадигма так называемого «спора о характере сатиры» Екатерины II и Новикова [Ивинский 2017].

«Истинная политика» также регулировала внешний вид аристократов: как и в других случаях, ключ к успеху — умеренность. Просвещенный молодой человек должен быть опрятен, однако не впадать в гордыню, которая неминуемо приведет к мотовству и роскоши:

Правило XXXVII. О излишнем украшении в одежде и о чистоте оной.

<...> не надлежит честному человеку ходить гнусно. Однако великая есть разность в том, чтоб содержать себя чисто, и иметь превеликое старание о своей особе. Всяк долженствует пребывать в рассуждении сего в надлежащих пределах и смотреть на свои лета и состояние. <...> чинить чрезвычайные расходы на одежду, на уборы, на строение домов, на пиры,

¹ Ср., напр.: [Всякая всячина 1769: 45–46, 142].

на приборы, стараться превзойти других и сравниться в великолепии с принцами, то сие происходит от гордости и от такого притворства, которое недостойно твердого разума. Старающиеся показать себя толь недостойными труда вещами дать причину о себе думать, что они желают украсить малое свое достоинство чрез внешнее сияние [Истинная политика 1737: 112–113]¹.

Находим в произведении де Кура и более частные, но менее важные рекомендации, которые должны были помочь молодому человеку ориентироваться в свете и которые очевидным образом напоминают тексты «господина наставника», издателя «Всякой всячины». Так, например, правило LXX гласит: «Не быть скору в своих рассуждениях» [Истинная политика 1737: 191], а правило LXIV помогает разобраться с тем, как «поступать с неблагодарными» [Истинная политика 1737: 175], правило же XLII учит «уметь выбирать, с кем сходиться» [Истинная политика 1737: 123].

Итак, Тредиаковский, обратившись, как он думал, к трактату Фенелона, претендовал на то, чтобы сконструировать язык новой придворной культуры, сформулировать основные принципы поведения «честного человека». При этом ситуация оказывается до некоторой степени парадоксальной: влияние «Истинной политики» на идеологию и дискурс русской журналистики 1760–1780 гг. очевидно, но роль Тредиаковского остается второстепенной, непроявленной, незаметной. Впрочем, как мы уже указывали выше, это было для него типично: один из ключевых авторов эпохи, идеи и тексты которого оставались актуальны годы спустя после его смерти, как будто бы ушел в тень, освободив место писателям, репутация которых была менее скандальна, на четверть века предвосхитив не только проблематику, но и язык первого журнала, связанного с именем Екатерины II.

¹ Щеголи — излюбленный объект нападок русской журналистики, см., напр.: [Трутьев 1770: 42–44, 119, 191; Смесь 1769: 65–68; И то и сию 1769. 23: 6; Полезное с приятным 1769. V: 10–11; XI: 1–9].

Список литературы

Источники

Адская почта, или Переписки хромоноого беса с кривым. СПб.: Пушкинский дом, 2013. 478 с.

Вечера: еженедельное издание на 1772 г. СПб: Тип. Академии наук, 1772. Ч. 1. 206 с.

Всякая всячина. СПб.: Тип. Академии наук, 1769–1770. 502 с.

И то и сию. СПб.: Тип. Морского кадетского корпуса, 1769. [180] с.

Истинная политика знатных и благородных особ. СПб.: Печ. при Имп. Академии наук, 1737. 224 с.

Полезное с приятным. СПб.: При Имп. Сухопутном шляхетном кадетском корпусе, 1769. [390] с.

Пустомеля: сатирический журнал [1770]. М.: В тип. С. Селивановского, 1858. 112 с.

Смесь. СПб.: Тип. Академии наук, 1769. 320 с.

Трудолюбивый муравей. СПб.: Тип. Академии наук, 1771. 204 с.

Трутень. СПб.: Тип. Академии наук, 1769–1770. 284 + 136 с.

Des Cours N.R. La véritable politique des personnes de qualité. Paris: J. Boudot, 1692. 175 p.

Исследования

Евгений, митрополит. Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России. М.: В ун-тской тип., 1845. Т. 1. 328 с.

Ивинский А. Д. Литературная политика Екатерины II: «Собеседник любителей русского слова». М.: Книжный дом «Либроком», 2012. 120 с.

Ивинский А. Д. Культурная политика Екатерины II: к вопросу о литературной позиции журнала «Всякая всячина» // *Slavia Orientalis*. 2015. Т. 64. № 2. С. 229–243.

Ивинский А. Д. «...мы не любим меланхоличных писем»: к вопросу о полемике Екатерины II и Н. И. Новикова в 1760–1770 гг. // *Бестиарий и чувства*. М.: Intrada, 2017. С. 174–182.

Ивинский А. Д. Журнал Екатерины II «Всякая всячина» и «Энциклопедия» Дидро и Д'Аламбера // *Литературный процесс в России XVIII–XIX вв.: светская и духовная словесность*. М.: Наука, 2019. с. 155–180.

Орлов А. С. «Тилемахида» В. К. Тредиаковского // XVIII век: сб. ст. и материалов. М.; Л.: АН СССР, 1935. С. 5–55.

Успенский Б. А. Вокруг Тредиаковского. Труды по истории русского языка и русской культуры. М.: Индрик, 2008. 612 с.

Reyftan I. Vasilii Trediakovsky. The Fool of the “New” Russian Literature. Stanford, Stanford University Press, 1990. 316 p.

References

Evgenii, mitropolit. *Slovar' russkikh svetskikh pisatelei, sootchestvennikov i chuzhestrantsev, pisavshikh v Rossii* [Dictionary of Russian Secular Writers, Compatriots and Foreigners Who Wrote in Russia], vol. 1. Moscow, V universitetskoi tipografii Publ., 1845. 328 p. (In Russ.)

Ivinskii, A. D. *Literaturnaia politika Ekateriny II: "Sobesednik liubitelii rossiiskogo slova"* [The Literary Policy of Catherine II: "The Interlocutor of Lovers of the Russian Word"]. Moscow, Knizhnyi dom "Librokom" Publ., 2012. 120 p. (In Russ.)

Ivinskii, A. D. "Kul'turnaia politika Ekateriny II: k voprosu o literaturnoi pozitsii zhurnala 'Vsiakaia vsiachina.'" ["Cultural Policy of Catherine II: On the Literary Position of the Magazine 'Vsyakaya Vsyachina.'"]. *Slavia Orientalis*, vol. 64, no. 2, 2015, pp. 229–243. (In Russ.)

Ivinskii, A. D. "'...my ne ljubim melankholicnykh pisem': k voprosu o polemike Ekateriny II i N. I. Novikova v 1760–1770 gg." ["...We do not Like Melancholic Letters': On the Controversy Between Catherine II and N. I. Novikov in 1760–1770s"]. *Bestiarii i chuvstva* [Bestiary and Feelings]. Moscow, Intrada Publ., pp. 174–182. (In Russ.)

Ivinskii, A. D. "Zhurnal Ekateriny II 'Vsiakaia vsiachina' i 'Entsiklopediia' Didro i D'Alamberta" ["Catherine II's 'All Sorts of Things' Magazine and 'Encyclopedia' by Diderot and D'Alembert"]. *Literaturnyi protsess v Rossii XVIII–XIX vv.: svetskaia i dukhovnaia slovesnost'* [The Literary Process in Russia in the 18th–19th Centuries: Secular and Spiritual Literature]. Moscow, Nauka Publ., 2019, pp. 155–180. (In Russ.)

Orlov, A. S. "'Tilemakhida' V. K. Trediakovskogo" ["V. K. Trediakovsky's 'Tilemakhida.'"]. *XVIII vek: sbornik statei i materialov* [18th Century: Collection of Articles and Materials]. Moscow, Leningrad, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1935, pp. 5–55. (In Russ.)

Uspenskii, B. A. *Vokrug Trediakovskogo. Trudy po istorii russkogo iazyka i russkoi kul'tury* [On Trediakovsky. Works on the History of the Russian Language and Russian Culture]. Moscow, Indrik Publ., 2008. 612 p. (In Russ.)

Reyffman, Irina. *Vasilii Trediakovsky. The Fool of the "New" Russian Literature*. Stanford, Stanford University Press, 1990. 316 p. (In English)

© 2023. М. И. Щербакова

Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук
г. Москва, Россия

Севастопольские рассказы Л. Н. Толстого как документ эпохи

Аннотация: В статье рассмотрены Севастопольские рассказы Л. Н. Толстого в сравнении с мемуарными источниками и документами, отразившими события Крымской войны 1853-1856 гг. Примеры исторических свидетельств почерпнуты в трудах М. И. Богдановича, Э.И. Тотлебена, Х. Я. Гюббенета, Ф. К. Затлера, Н. И. Пирогова, Н. В. Берга, О.И. Константинова. Показано, что истоком жанровой природы Севастопольских рассказов стал военный опыт молодого офицера Толстого, создавшего панораму событий, сотканную из качественно иного, образно-художественного материала и обладающую неизмеримо большей силой воздействия, чем статистика и официальные документы. Проанализированы художественные приемы писателя в картинах севастопольского госпиталя, штурма Малахова кургана, ухода русской армии из Севастополя. Сделан вывод о том, что историческому масштабу военных событий соответствует художественный масштаб созданных Толстым Севастопольских рассказов. Автор не только не отступил от исторической правды, но раскрыл трагическую глубину и сакральный смысл Крымской войны в русской истории.

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, Севастопольские рассказы, Крымская война, Малахов курган, историзм, поэтика, документальность.

Информация об авторе: Марина Ивановна Щербакова, доктор филологических наук, главный научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25 а, 121069 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6705-8707>

E-mail: m-shcherbakova@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 16.03.2023

Дата одобрения статьи рецензентами: 28.04.2023

Дата публикации статьи: 25.06.2023

Для цитирования: Щербакова М. И. Севастопольские рассказы Л. Н. Толстого как документ эпохи // Два века русской классики. 2023. Т. 5, № 2. С. 90–103. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-90-103>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 90–103. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 90–103. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2023. Marina I. Shcherbakova

A. M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia

Sevastopol Stories by L. N. Tolstoy as a Document of the Epoch

Abstract: The article deals with the Sevastopol stories of Leo Tolstoy in comparison with memoir sources and documents reflecting the events of the Crimean War of 1853–1856. The works of M. I. Bogdanovich, E. I. Totleben, H. J. Gubbenet, F. K. Zatlner, N. I. Pirogov, N. V. Berg, O. I. Konstantinov demonstrate the examples of historical evidence. The article shows that the source of the genre nature of the Sevastopol stories was the military experience of the young officer Tolstoy, who created a panorama of events woven from a qualitatively different figurative and artistic material and having an immeasurably greater impact than statistics and official documents. The analysis covers artistic techniques of the writer in the paintings of the Sevastopol hospital, the assault on the Malakhov Kurgan and the departure of the Russian army from Sevastopol. Summing up the results, it can be concluded that the artistic scale of the Sevastopol stories created by Tolstoy corresponds to the historical scale of military events. The author not only did not deviate from the historical truth, but revealed the tragic depth and sacred meaning of the Crimean War in Russian history.

Keywords: Leo Tolstoy, Sevastopol stories, Crimean War, Malakhov Kurgan, historicism, poetics, documentary.

Information about the author: Marina I. Shcherbakova, DSc in Philology, Director of Research, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25 a, 121069 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6705-8707>
E-mail: m-shcherbakova@mail.ru

Received: March 16, 2023

Approved after reviewing: April 28, 2023

Published: June 25, 2023

For citation: Shcherbakova, M. I. “Sevastopol Stories by L. N. Tolstoy as a Document of the Epoch.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 90–103. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-90-103>

В русской и мировой литературе главным художественным шедевром о Крымской войне 1853-1856 гг. стали Севастопольские рассказы Л. Н. Толстого: «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае» и «Севастополь в августе 1855 года». Между тем уже первый рассказ, сразу по выходе в свет, был охарактеризован в официальной переписке как «статья литературно-патриотического содержания». Возможно, как предположила Н. И. Бурнашева, такой тактический ход И. И. Панаева «помог сломать непреступную стену цензуры на пути в литературу сочинений о севастопольской кампании» [Бурнашева: 393].

Первые отзывы критики были единодушны в высокой оценке и отмечали подлинность, документальную точность повествования [Гулин]. Эта «непридуманность» стала причиной того, что жанровое определение «Севастополя в декабре месяце» оказалось весьма расплывчатым: *отличная вещь, превосходная картина, описание, статья, заметки*. Подобный разнобой в определении жанра повторился и с «Севастополем в мае». Сам автор, отправляя рукопись Панаеву, назвал ее «Севастопольской статьей» и тут же — «моим рассказом» [Толстой 1935: 322]. В переписке современников и в первых критических статьях определение «рассказ» присутствует наравне с другими: *очерк, статья, вторая статья, новый севастопольский отрывок, статья о Севастополе*. И, наконец, «Севастополь в августе 1855 года» был воспринят современниками в контексте двух предыдущих публикаций Толстого, что сказалось на преобладавших жанровых определениях: *повесть, рассказ, военные очерки, статьи*. Собственно, и утвердившееся в истории литературы название всего цикла — Севастопольские рассказы — не легитимно с точки зрения авторской воли. Жанровая природа севастопольской трилогии Толстого берет начало в том жизненном опыте, который приобрел молодой офицер граф Лев Николаевич Толстой как участник Крымской войны и обороны Севастополя. «Не хочется и неприятно писать там, — признавался он брату Сергею

Николаевичу, — где не знаешь нынче, будешь ли жив завтра» [Толстой 2002: 387], — писать по старинке, повторяя штампы, придумывая, фантазируя.

Севастопольские рассказы не вписывались в сферу беллетристики и преимущественно воспринимались как документальный репортаж с места событий. Впрочем, на деле так оно и было. «По отзывам людей, бывших в Севастополе, заметки Толстого очень верны» [Толстой 2002: 397], — писал А. В. Дружинин. Силу правды ощущали все читатели, но оказывались перед загадкой: как это сделано? «Отечественные записки» обратили внимание на мастерство Толстого: «Он не сказал ни одной восторженной фразы и заставил вас восторгаться; описание его не изобилует восклицательными знаками, и, однако ж, вы удивляетесь на каждом шагу, удивляетесь всем, начиная от матроса и солдата и кончая командующими генералами» [Отечественные записки: 65]. Хорошо известны восторженные отзывы таких знатоков и ценителей художественного слова, как И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, С. Т. Аксаков, Ап. А. Григорьев, И. И. Панаев. Они сразу увидели в Севастопольских рассказах не документальную прозу, а художественный образ невероятной силы.

Героем Севастопольских рассказов, «которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен» [Толстой 2002: 130], Толстой называл правду — конечно же, правду художественную. О достоверности исторических документов, на которые преимущественно опирается наука, в частности, и в изучении Крымской войны, Толстому довелось узнать не понаслышке: по поручению начальника штаба артиллерии генерала Н. А. Крыжановского он составлял «Донесение о последней бомбардировке и взятии Севастополя союзными войсками». «Это был лучший образец той наивной, необходимой военной лжи, из которой составляются описания» [Толстой 2002: 461], — вспоминал позднее Толстой.

Иной документ Крымской войны явлен в Севастопольских рассказах. Гений Толстого создал панораму событий, сотканную из качественно иного материала и обладающую неизмеримо большей силой воздействия.

Проведя читателя первого рассказа «Севастополь в декабре месяце» с Северной стороны, через переправу, на Графскую пристань и набе-

режную, в госпиталь в здании Благородного собрания — «дом страданий», в трактир, «чтобы послушать толки моряков и офицеров», автор переходит к панораме бастионов, особо останавливаясь на четвертом.

Пройти весь этот путь также есть возможность, перелистывая страницы четырехтомного труда М. И. Богдановича «Восточная война 1853–1856 годов», в котором с непревзойденной тщательностью и полнотой представлены документы и воспоминания очевидцев. При этом подчеркнем, что в них несравненно больше статистики и точных указаний, что, казалось бы, достовернее, чем художественный текст, передает исторические события.

Так, о состоянии медицинской и госпитальной части русских войск свидетельствовал Х. Я. Гюббенет: «Мы имели в Крыму военные госпитали только в Севастополе, Симферополе, Феодосии, Керчи и Перекопе, всего на 1 950 кроватей да сверх того в симферопольской городской больнице могло быть помещено до ста больных. Присоединив к тому запасные средства госпиталей и лазаретный материал войск, мы едва ли могли призреть три тысячи больных» [Гюббенет: 2]. Генерал-интендант Южной, а позднее и Крымской армии барон Ф. К. Затлер приводит следующие цифры: «В начале ноября 1854 года из показываемых по спискам 126 323 строевых нижних чинов, кроме оставленных в госпиталях Южной армии около шести тысяч человек, состояло в госпиталях и лазаретах Крымской армии более 21 тысячи человек, всего же 27 244 человек, в числе которых раненых 10 553, не считая легкораненых, оставшихся на службе при войсках» [Затлер: 137]. Пробывши всю осаду в Севастополе и заведая госпиталями левого фланга, Гюббенет вспоминал: «Не было достаточно ни помещений, ни кроватей, которые не успели заготовить <...> (Ср. у Толстого: больные «одни на койках, большей частью на полу» [Толстой 2002: 84]). Не доставало ни белья, ни даже необходимой для больных пищи. Человек на триста, большей частью раненых, приходилось лишь по одному врачу, а в лекарствах и перевязочных припасах уже и в то время оказывался недостаток» [Гюббенет: 109]. В воспоминаниях Н. И. Пирогова сообщается, что дом Благородного собрания был главным центром медицинской деятельности. «Туда, среди падавших у самого входа ракет и бомб тянулись ряды носильщиков <...>. Огромная бывшая танцевальная зала в продолжение десятидневного бомбардирования беспрестанно наполнялась и опороянялась; в боковой, довольно большой, комнате,

на трех столах производились операции <...>. Обок с подвигами самоотвержения севастопольских героев на бастионах оборонительной линии совершались столь же дивные подвиги христианской любви неустоимых врачей и усердных сестер милосердия» [Богданович III: 272; Пирогов 1856; Дмитриев, Федоров].

Ни в этих, ни в других воспоминаниях очевидцев не найдем того, чем потрясает описание Толстого. Автор «Севастополя в декабре» обрушивает на читателя, которого он привел в «дом страданий», *запах, стоны, потрясающие душу зрелища; но дурному чувству, которое поражает, верить нельзя, страдальцам необходимы слова любви и участия*. И вот целая гамма, широкий диапазон внутренних ощущений и душевных переживаний: сначала *страх оскорбить несчастных, глубокое сочувствие*, затем *высокое уважение* и, наконец, *сознание своего ничтожества*: с которым *спокойно, без нерешимости пойдете на бастионы, т. е. на смерть*.

В «Севастополе в мае» испытание «домом страданий» не выдерживает князь Гальцин: он «вошел в первую комнату, взглянул и тотчас же невольно повернулся назад и выбежал на улицу. Это было слишком ужасно!» [Толстой 2002: 110]. Попутно отметим этот характерный прием Толстого-художника «проверять» своих героев. Как и в первом из Севастопольских рассказов, Толстой передает общее впечатление. Но как он это делает, как проникает в самые глубины человеческого сердца и запечатлевает там ужас войны, вызывая глубокое сострадание! «Луки крови, видны на местах незанятых, горячее дыхание нескольких сотен человек и испарения рабочих с носилками производили какой-то особенный тяжелый, густой, вонючий смрад, в котором пасмурно горели свечи на различных концах залы. Говор разнообразных стонов, вздохов, хрипений, прерываемый иногда пронзительным криком, носился по всей комнате» [Толстой 2002: 110]. Здесь же *деятельное практическое участие сестер милосердия, мрачные лица и засученные рукава докторов*.

Толстой сам дает читателю ключ к своей Севастопольской трилогии: правда войны — «не в этом множестве траверсов, брустверов, хитросплетенных траншей, мин и орудий, одних на других, из которых вы ничего не поняли»; она «в глазах, речах, приемах, в том, что называется *духом защитников Севастополя*» [Толстой 2002: 92].

Штурм Малахова кургана — одно из знаковых событий Крымской войны. О нем подробно писали Э. И. Тотлебен [Тотлебен], О. И. Кон-

стантинов [Константинов], Н. И. Пирогов [Пирогов 1907], Н. В. Берг [Берг]. По этим и другим материалам картина воссоздана М. И. Богдановичем в главе XXXV «Штурм Севастополя». Представлена диспозиция коалиции, утвержденная заранее, 22 августа (3 сентября) и нацеленная исключительно на главную атаку — на Малахов курган. Также в главу включены сведения о расположении в день штурма гарнизона Южной стороны: на береговых батареях, на Городской стороне и на Корабельной. «Всего же в Севастопольском гарнизоне было: пехоты 96 батальонов и три дружины, в числе 41 300 человек, один стрелковый батальон, 400 человек; 2 $\frac{3}{4}$ батальона саперов, до 1100 человек; в прислуге артиллерии 4000 моряков и 2200 человек сухопутного ведомства. А число людей вообще 49 тысяч» [Богданович IV: 95]. Более 20 страниц текста главы [Богданович IV: 97-118] посвящено исчерпывающему описанию обороны, которую держали четыре батальона трех полков (Модлинского, Прагского и Замостского), а затем введенные в дело полки (Олонецкий, Белозерский, Черниговский, Полтавский, Кременчугский, Муромский, Севский, Шлиссельбургский), указанию численности каждого из 21 батальона — всего «до семи тысяч человек» [Богданович IV: 110], имен военачальников обеих сторон, описанию героической гибели русских воинов (генералов Хрулева, Лысенко, Юферова, флигель-адъютанта Воейкова и др.). Богданович пишет: «Густая пыль, гонимая северным ветром навстречу союзникам, и дым от артиллерийской и ружейной пальбы не позволяли различать сигналов; но как только англичане заметили появление трехцветного знамени на Малаховой кургане, то генерал Кодрингтон повел войска на штурм 3-го бастиона» [Богданович IV: 111]. «Таким образом, — итожит свое дальнейшее описание Богданович, — неприятель, штурмуя разрушенные укрепления, обороняемые недостаточным числом войск, на пространстве от 2-го до 5-го бастиона успел овладеть только Малаховым курганом; на всех же прочих пунктах устояли защитники Севастополя. Занятие Малахова кургана дорого обошлось неприятелю» [Богданович IV: 116-117].

В рассказе «Севастополь в августе 1855 года» штурму Малахова кургана посвящена небольшая, 25-я по счету главка — полторы страницы, 65 строк. Она построена абсолютно просто: третью часть текста занимает панорама Севастополя — «красивого, праздничного, гордого» [Толстой 2002: 174]; более сжато описан сам штурм; здесь же — краткие

реплики русских морских офицеров, наблюдавших штурм с Телеграфной горы.

Глубокий трагизм исторического события подчеркнут контрастом описаний. *Темные пятна, темные полосы, черные точки* двигались к бастионам *ближе и ближе*, дым сливался в *лиловатое облако*; и когда *все звуки соединились в один перекатывающийся треск*, увидели знамя — «французское на Малаховом!» [Толстой 2002: 175].

Иначе создана Толстым в этой главе панорама Севастополя, окруженного «с одной стороны желтыми дымящимися горами, с другой — ярко-синим, играющим на солнце морем» [Толстой 2002: 174]. Город *все тот же*: недостроенная церковь, колоннада, набережная, бульвар, *изящное строение библиотеки*, бухточки, *живописные арки водопроводов*... О войне свидетельствуют *клубки белого дыма*, рождавшиеся то в самом городе, то по горам, то на неприятельских батареях. А надо всем происходившим на земле и на море — как сияющий ореол: «Солнце светло и высоко стояло над бухтой, игравшей с своими стоящими кораблями и движущимися парусами и лодками веселым и теплым блеском. Легкий ветерок едва шевелил листья засыхающих дубовых кустов около телеграфа, надувал паруса лодок и колыхал волны» [Толстой 2002: 174]. Отметим, что при первой публикации рассказа в «Современнике» (1856. № 1. С. 71–122) было ошибочно напечатано: «темным блеском». Несоответствие авторскому замыслу было обнаружено и тогда же исправлено в издании «Военные рассказы графа Л. Н. Толстого» (1856).

Образ темных, дьявольских сил, неотвратимо нависших над русской национальной святыней, ползущих к ней вязкой смертоносной массой, стоит в одном ряду со строчками, созданными за два неполных десятилетия до штурма Малахова кургана и оставления Севастополя:

Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

М. И. Богданович свидетельствует, что «защитники Севастополя, обрешкие себя на гибель во славу нашего царя и Отечества, изнуренные непомерными трудами, но бодрые духом, были поражены молвой о предстоящем оставлении Севастополя. Особенно же моряки не мог-

ли свыкнуться с мыслью уступить неприятелю свой город» [Богданович IV: 125].

Этот трагический перелом Крымской войны был пережит Толстым лично: «Я плакал, когда увидел город в огне и французские знамена на наших бастионах; и вообще во многих отношениях это был день очень печальный» [Толстой 1935: 334]. Общее настроение защитников города запечатлено Толстым в художественных деталях, в портретных описаниях рассказа «Севастополь в августе 1855 года»: «На каждом лице видны были тяжелое волнение и ожидание чего-то ужасного» [Толстой 2002: 175]. Последний вопрос умиравшего Козельцова-старшего был: «Что, выбиты французы везде?» [Толстой 2002: 177]. Священник скрыл от него, «что на Малаховом кургане уже развевалось французское знамя» [Толстой 2002: 177]. В этом счастливом неведении он и умер с мыслью о брате.

Фокус авторского окуляра в Севастопольских рассказах настроен так, что «прекрасное историческое предание» [Толстой 2002: 93] о силе русского народа, идущее из глубокой древности, в своем временном приближении становится «достоверностью, фактом» [Толстой 2002: 93]. Читатель видит защитников Севастополя, «спокойно живущих под ядрами, при ста случайностях смерти вместо одной, которой подвержены все люди, и живущих в этих условиях среди непрерывного труда, бдения и грязи» [Толстой 2002: 93]. Но не эти увиденные вблизи достоверные картины цель художника. Историческому масштабу военных событий («Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...» [Толстой 2002: 93]) соответствует художественный масштаб созданных Толстым Севастопольских рассказов. Одним из первых это отметил Н. А. Некрасов: «Меткая, своеобразная наблюдательность, глубокое проникновение в сущность вещей и характеров, строгая, ни перед чем не отступающая правда, избыток мимолетных замечок, сверкающих умом и удивляющих зоркостью глаза, богатство поэзии, всегда свободной, вспыхивающей внезапно и всегда умеренно, и, наконец, сила — всюду разлитая, присутствие которой слышится в каждой строке, в каждом небрежно оброненном слове, — вот достоинства повести» [Некрасов: 203-205].

В финале первого рассказа «Севастополь в декабре месяце» намечено какое-то страшное предзнаменование: солнце вдруг освещает багряным светом лиловые тучи и белые строения города. Этому цве-

товому контрасту вторит контраст звуковой: «По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им» [Толстой 2002: 93].

В рассказе «Севастополь в мае» все так же «на бульваре, около павильона играла полковая музыка и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам» [Толстой 2002: 95], солнце одинаково радостно светило всем, оставляя за каждым понимание того, что война есть преступление перед жизнью. И в то же время «тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи — успокоиться в объятиях смерти» [Толстой 2002: 94]. Солнце «спускалось к далекому синему морю, которое, мерно колыхаясь, светилось серебряным блеском» [Толстой 2002: 95].

В «зыбливую мрачную ночь» ухода русской армии из Севастополя на небе ярко блестят только звезды и видны другие, смертоносные источники света: «вспыхивали по земле молнии, взрывы <...> освещали вокруг себя какие-то черные, странные предметы и камни, взлетавшие на воздух» [Толстой 2002: 180], в воде отражалось красное пламя пожара, огонь с Николаевской батареи освещал мост, «большое пламя стояло, казалось, над водой на далеком мыску Александровской батареи и освещало низ облака дыма, стоявшего над ним» [Толстой 2002: 180]. Взрывы потрясают воздух, говора не слышно, «только из-за равномерного звука разрезаемых волн и пара слышно было, как лошади фыркали и топали ногами на шаланде», командные слова капитана, стоны раненых и громкий плач Вланга о Володе Козельцове, своем «обожаемом прапорщике» [Толстой 2002: 178]. С тем же ночным морем в финале рассказа «Севастополь в августе 1855 года» дано сравнение севастопольского войска, которое «сливаясь, разливаясь и тревожно трепеща всей своей массой, колыхаясь у бухты по мосту и на Северной, медленно двигалось в непроницаемой темноте прочь от места, на котором столько оно оставило храбрых братьев, — от места, всего облитого его кровью; от места, одиннадцать месяцев отстаиваемого от вдвое сильнейшего врага и которое теперь велено было оставить без боя. <...> Выходя на ту сторону моста, почти каждый солдат снимал шапку и крестился» [Толстой 2002: 181]. Здесь все тот же, знакомый по описанию штурма Малахова кургана, контраст света и тьмы.

Э. И. Тотлебен в своем «Описании обороны Севастополя» приводит показания очевидцев о том, что переправа совершалась при бурном северо-восточном ветре, «мост, нагруженный густой массой людей, орудий и повозок», сильно колыхался и был заливаем водой, но «устоял благодаря усердию моряков и саперов, стоявших у канатов и быстро подводивших под мост осмоленные бочки везде, где в том встречалась надобность. Иногда переходящим казалось, что мост разорвался и идет ко дну; толпы с криком бросались назад, и переправа останавливалась» [Богданович IV: 129].

У Толстого реальные подробности, сопровождавшие ночную переправу на Северную (*бурный северо-восточный ветер, волнение бухты, колыхание нагруженного моста, усердие моряков и саперов*), растворены во всеобъемлющем символическом образе моря, который вобрал в себя также и ратное море Севастополя.

Исторически верная точка поставлена писателем в словах простого севастопольского солдата: «Небось свой значок на кургане поставил, а в город не суется. Погоди, еще расчет будет с тобой настоящий — дай срок, — заключил он, обращаясь к французам. — Известно, будет! — сказал другой с убеждением» [Толстой 2002: 180]. Показательно, что и Богданович, несмотря на безусловный приоритет документальных источников, не прошел мимо мудрого народного слова, включив в свой труд (глава XXXV «Штурм Севастополя»), помимо сухих документов и статистики, эпизод из рукописных «Записок офицера, участвовавшего в обороне Севастополя». В день штурма 27 августа, в половине десятого вечера, два моряка чинили в библиотеке Севастополя часы с кукушкой: «Нам нельзя уходить, мы никакого распоряжения не получали; армейские могут уходить, а у нас свое, морское начальство; мы от него не получали приказания; да как же это Севастополь оставить? Разве это можно? <...> Мы здесь должны помирать, а не уходить; что же об нас в России скажут?» [Богданович IV: 125-126].

Художественный гений Толстого в Севастопольских рассказах, не отступив ни на шаг от правды, многократно подтвержденной документальными свидетельствами об историческом подвиге русского воинства в Крымской войне, обозначил сакральные смыслы [Щербакова] победы над врагом несокрушимого русского духа и заложил память об этой победе из рода в род.

Список литературы

Источники

- Берг Н. В.* Записки об осаде Севастополя. М.: Кучково поле, 2016. 478 с.
- Богданович М. И.* Восточная война 1853-1856 годов. М.: Принципиум, 2019. Т. III. 448 с.
- Богданович М. И.* Восточная война 1853-1856 годов. М.: Принципиум, 2019. Т. IV. 512 с.
- Гюббенет Х. Я.* Очерк медицинской и госпитальной части русских войск в Крыму в 1854-1856 годах. СПб.: Тип. Н. Неклюдова, 1870. 185 с.
- Затлер Ф.* О госпиталях в военное время. СПб.: Тип. т-ва «Общественная Польза», 1861. 522 с.
- Константинов О. И.* Штурм Малахова кургана // Русская старина. 1875. № 11. С. 568-598.
- Некрасов Н. А.* Заметки о журналах за декабрь 1855 и январь 1856 года // Современник. 1856. № 2. Отд. V. С. 201-223.
- Отечественные записки. 1855. № 7. Журналистика. С. 47-94.
- Пирогов Н. И.* Исторический обзор действий Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и больных в военных госпиталях в Крыму и Херсонской губернии, с 1 декабря 1854 по 1 декабря 1855 года. СПб.: Тип. Имп. Акад. Наук, 1856. 33 с.
- Пирогов Н. И.* Севастопольские письма Н. И. Пирогова. (1854-1855). СПб.: Русское хирургическое о-во Пирогова, 1907. 231 с.
- Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: в 100 т. М., Наука. 2002. Т. 2: Художественные произведения. 598 с.
- Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худож. лит., 1935. Т. 59. 386 с.
- Тотлебен Э. И.* Описание обороны г. Севастополя. СПб.: Тип. Н. Тиблена и К°, 1872. 333 с.

Исследования

Бесов А. Г. О причинах и итогах Крымской войны 1853–1856 годов // Восточный архив. 2006. № 14–15. С. 5–10.

Бурнашёва Н. И. Комментарии. Произведения 1852–1856 гг. // *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: в 100 т. М.: Наука, 2002. Т. 2: 1852–1856. С. 283–517.

Гулин А. В. Лев Толстой и пути русской истории. М.: ИМЛИ РАН, 2004. 253 с.

Дмитриев А. П., Федоров Д. А. Крымская война и русский мир в переписке Веры Аксаковой и Марии Карташевской // Крымская война в истории России и в жизни славянофильского семейства: Переписка Веры Аксаковой и Марии Карташевской. 1853–1856. СПб.: Росток, 2016. С. 3–26.

Щербакова М. И. Севастопольские рассказы Л. Н. Толстого: духовные смыслы Крымской войны // *Studia Litterarum*. 2022. Т. 7, № 2. С. 176–187. <https://doi.org/10.22455/2500-4247-2022-7-2-162-173>

References

Besov, A. G. “O prichinakh i itogakh Krymskoi voiny 1853–1856 godov” [“On the Causes and Results of the Crimean War of 1853–1856”]. *Vostochnyi arkhiv*, no. 14–15, 2006, pp. 5–10. (In Russ.)

Burnasheva, N. I. “Kommentarii. Proizvedeniia 1852–1856 gg.” [“Comments. Works of 1852–1856”]. Tolstoi, L. N. *Polnoe sobranie sochinenii: v 100 t.* [Complete Works: in 100 vols.], vol. 2: 1852–1856 [1852–1856]. Moscow, Nauka Publ., 2002, pp. 283–517. (In Russ.)

Gulin, A. V. *Lev Tolstoi i puti russkoi istorii* [Leo Tolstoy and the Ways of Russian History]. Moscow, IWL RAS Publ., 2004. 253 p. (In Russ.)

Dmitriev, A. P., and D. A. Fedorov. “Krymskaia voina i russkii mir v perepiske Very Aksakovoi i Marii Kartashevskoi” [“The Crimean War and the Russian World in the Correspondence of Vera Aksakova and Maria Kartashevskaya”]. *Krymskaia voina v istorii Rossii i v zhizni slavianofil'skogo semeistva: Perepiska Very Aksakovoi i Marii Kartashevskoi. 1853–1856* [The Crimean War in the History of Russia and in the Life of the Slavophile Family: Correspondence of Vera Aksakova and Maria Kartashevskaya]. St. Petersburg, Rostok Publ., 2016, pp. 3–26. (In Russ.)

Shcherbakova, M. I. “Sevastopol'skie rasskazy L. N. Tolstogo: dukhovnye smysly Krymskoi voiny” [“Leo Tolstoy's Sevastopol Stories: Spiritual Meanings of the Crimean War”]. *Studia Litterarum*, vol. 7, no. 2, 2022, pp. 176–187. <https://doi.org/10.22455/2500-4247-2022-7-2-162-173> (In Russ.)

© 2023. Н. В. Мокина

Саратовский национальный исследовательский
государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
г. Саратов, Россия

**Ф. М. Достоевский и А. Н. Островский:
к проблеме литературных источников характеров и коллизий
в драме «Бесприданница»**

Аннотация: В статье рассматриваются сюжетно-образные параллели между драмой Островского «Бесприданница» и романом Достоевского «Бесы». Высказывания Островского в последние годы его жизни о Достоевском свидетельствуют о неприятии им творческих принципов автора «Бесов». Однако жесты, реплики героев «Бесприданницы» — Паратова, Вожеватова, Ларисы Огудаловой, сопутствующие им мотивы, связанные с ними коллизии позволяют предположить, что, работая над драмой, Островский находился под влиянием «литературного припоминания» романа Достоевского «Бесы» и его героев — Ставрогина, Петра Верховенского, Лизы Тушиной. На возможность параллелей между героями «Бесприданницы» и «Бесов» указывают и их общие библейские и литературные прототипы: аллюзии на змея-соблазителя, Гамлета, принца Гарри, Мефистофеля и Фауста, Дон Гуана содержатся в историях Ставрогина и Паратова, на змея-соблазителя, Мефистофеля и Лепорелло — в жестах и поступках Петра Верховенского и Вожеватова, на Офелию, Гретхен и «бедную Лизу» — в рисунке образов Лизы Тушиной и Ларисы Огудаловой. Сюжетные параллели между произведениями, общие слагаемые образов героев, художественные приемы, не отменяя творческих расхождений писателей, являются знаками продолжения творческого «диалога» между авторами «Бесов» и «Бесприданницы».

Ключевые слова: А. Н. Островский, Ф. М. Достоевский, сюжетно-образные параллели, аллюзии, прототипы, творческий диалог, литературный прием.

Информация об авторе: Наталия Васильевна Мокина, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, ул. Астраханская, д. 83. 410012 г. Саратов, Россия.
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6314-0823>

E-mail: nat.mokina2011@yandex.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 14.03.2023

Дата одобрения статьи рецензентами: 18.04.2023

Дата публикации статьи: 25.06.2023

Для цитирования: Мокина Н. В. Достоевский и Островский: к проблеме литературных источников характеров и коллизий в драме «Бесприданница» // Два века русской классики. 2023. Т. 5, № 2. С. 104–121. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-104-121>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 104–121. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 104–121. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2023. **Natalia V. Mokina**

Saratov State University
Saratov, Russia

F. M. Dostoevsky and A. N. Ostrovsky: To the Problem of Literary Sources of Characters and Collisions in the Drama “Without a Dowry”

Abstract: The article examines parallels in plot and images between Ostrovsky’s drama “Without a Dowry” and Dostoevsky’s novel “Demons.” Ostrovsky’s remarks about Dostoevsky in the last years of his life reveal that he distanced himself from the creative principles of the author of “Demons.” However, gestures and remarks of the characters of “Without a Dowry,” such as Paratov, Vozhevatov, Larisa Ogudalova, as well as motifs and collisions connected with them allow us to suggest that while working on the drama, Ostrovsky was influenced by a “literary recall” of Dostoevsky’s novel “Demons” and its characters, namely Stavrogin, Petr Verkhovensky, Liza Tushina. The possible parallels between the characters in “Without a Dowry” and “Demons” are also indicated by their common biblical and literary prototypes: there are allusions to the Serpent-tempter, Hamlet, Prince Harry, Mephistopheles and Faust contained in the stories of Stavrogin and Paratov, allusions to the Serpent and Mephistopheles in the gestures and actions of Petr Verkhovensky and Vozhevatov, while allusions to Ophelia, Gretchen and Poor Liza can be found in the images of Liza Tushina and Larisa Ogudalova. Even despite the differences in the writers’ approaches, there are remarkable plot parallels between the two works, common components in the characters’ images, similar artistic techniques, which, in our opinion, are signs of a literary “dialogue” between the authors of “Demons” and “Without a Dowry.”

Keywords: A. N. Ostrovsky, F. M. Dostoevsky, plot-figurative parallels, allusions, prototypes, creative dialogue, literary device.

Information about the author: Natalia V. Mokina, DSc in Philology, Professor, Saratov State University, 83, Astrakhanskaya St., Saratov, 410012, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6314-0823>

E-mail: nat.mokina2011@yandex.ru

Received: March 14, 2023

Approved after reviewing: April 18, 2023

Published: June 25, 2023

For citation: Mokina, N. V. “F. M. Dostoevsky and A. N. Ostrovsky: To the Problem of Literary Sources of Characters and Collisions in the Drama ‘Without a Dowry.’” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 104–121. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-104-121>

Проблема творческих взаимоотношений Островского и Достоевского в разных ее аспектах привлекает внимание многих исследователей: анализ идеологических и эстетических «сопряжений» и «отталкиваний» [Альми: 272–286; Михновец 2021: 460–478], формирующих напряженный «диалог» между двумя великими писателями, дополняет не только картину их художественных исканий, но и представление о ведущих и периферийных тенденциях в развитии русской прозы и драматургии второй половины XIX в.

В контексте «диалога» Островского и Достоевского («диалога» и о характере эпохи, и о принципах воплощения «правды» действительности в творчестве) рассматривалась драма «Бесприданница», в которой исследователи отметили «сюжетные взаимосвязи» с рассказом Достоевского «Кроткая» [Тарасова: 4–13; Михновец 2013: 100–112]. По нашему мнению, в «Бесприданнице» можно найти «оглядку» Островского и на другое произведение Достоевского — на роман «Бесы».

«Бесы» публиковались в журнале «Русский вестник» в 1871–1872 гг., отдельное издание вышло в 1873 г. В 1874 г. у Островского возникает замысел «Бесприданницы». Жесты, реплики героев «Бесприданницы» (Паратова, Вожеватова, Ларисы), сопутствующие им мотивы, связанные с ними подробности или коллизии позволяют предположить, что, продумывая психологию своих героев и рассказывая о перипетиях их судеб, отразивших и общие процессы в русской жизни, и универсальные противоречия души и бытия человека, Островский находился под влиянием «литературного припоминания» (если воспользоваться выражением А. Л. Бема [Бем: 667]) романа Достоевского «Бесы», в частности, историй Ставрогина, Петра Верховенского, Лизы Тушиной, в которых также органично сопряжены относительное и безусловное, родное и вселенское (говоря словами Вяч. Иванова), веяния времени и вечно повторяющиеся коллизии человеческой жизни.

На безусловное в относительном (или на вселенское в родном) в душах и судьбах героев произведений Островского и Достоевского указывают аллюзии на «вечные» сюжеты и «вечных» героев, причем основные интертекстуальные «ключи» к образам героев романа и драмы едины. Эxpлицитовано или — чаще — имплицитно в перипетиях жизни героев писателя и драматурга содержатся отсылки к библейскому образу «премудрого змия», к героям исторической хроники «Генрих IV» и трагедии «Гамлет» Шекспира (принцу Гарри, Гамлету, Офелии <...> [Карпушкина: 157–170]), к героям Гете — Фаусту, Мефистофелю [Иванов: 336] и Гретхен, к «бедной Лизе» и Эрасту Карамзина, к пушкинским Дон Гуану и Лепорелло — персонажам «маленькой трагедии» «Каменный гость».

Признание «Бесов» источником образов и коллизий «Бесприданницы» (а также и приемов, и способов характеросложения в драме) кажется, на первый взгляд, парадоксальным, особенно если учитывать высказывание Островского о Достоевском: «<...> я не читаю и не могу читать Достоевского <...>» [Новский: 296]. Островский во многом иначе, чем Достоевский, понимает процессы, определяющие «смутное время колебания или перехода» [Достоевский: 431], он, по свидетельству Н. Н. Луженовского, познакомившегося с драматургом в последние годы его жизни, не принимает и творческих принципов Достоевского, утверждая, что «этот человек никогда не может сказать правду: ему все *кажется*, а не на самом деле он видит вещи» [Новский: 296].

Герои драмы действительно как будто живут в другой России, не подвластной «повальной психической эпидемии» [Чирков: 149]. У жителей Брахимова иные интересы и ценности, чем у «неистовых» героев «Бесов», и «развивающиеся купчики» в драме Островского — не малая часть «дрянейших людишек», получивших «перевес» в обществе, как у Достоевского [Достоевский: 431–432], — они представляют весьма влиятельный слой общества, формирующий жизнь России в кризисное время.

Но есть и несомненные совпадения в описании нравов в верхневолжских городах Островского и Достоевского. «Всеобщий сбивчивый цинизм» [Достоевский: 431], признаваемый автором «Бесов» характерной особенностью времени, определяет взаимоотношения жителей не только «беснующейся провинции» [Туниманов: 151] Достоевского. И в городе Брахимове тоже властвует «бесстыдное и холодное бессердечие»,

которое, по мнению первых рецензентов драмы, сделалось «чуть ли не основной чертой прогресса во всех общественных слоях» [Прохоров: 501]. Проявляются «сбивчивый цинизм» и «бесстыдное бессердечие» в городах Островского и Достоевского во многом одинаково — в чрезмерном и жестоком веселье над ближним [Мокина: 301–302].

Достоевским «смех до слез», в соответствии с традицией, отождествляется с бесовством [Панченко: 150] и воспринимается как один из знаков одержимости современного человека «духами безбожия и своеволия» [Иванов: 337]. «Разумеется, все хохотали», «все смеются», — повторяет Хроникер у Достоевского, рассказывая о «диком» и жестоком веселье в «беснующейся провинции» [Достоевский: 303]. Но Хроникер включает «дикое» веселье и в свое размышление о национальном характере: он видит одну из особенностей русского человека в том, что его «непомерно веселит всякая общественная скандальная суматоха» [Достоевский: 430].

Веселье жителей Бряхимова нельзя назвать «диким», но и оно кажется бесчеловечным и жестоким [Островский 5: 65], что позволяет говорить и о его демонической природе. Позднее Островский также скажет устами одной из героинь другой пьесы о жестокости как особенности «русского» смеха: «Русский человек любит посмеяться над ближним, и смеется безжалостно» [Островский 5: 351]. Именно так, безжалостно, смеются и герои «Бесприданницы» — Вожеватов и Паратов. Неслучайно «потешающегося» над Карандышевым Паратова Робинзон сравнивает с героем оперы «Роберт-дьявол» Бертрамом, посланцем духа зла [Островский 5: 56–57]. Традиционные демонические коннотации обретает и сравнение Вожеватова с «шутом»: постоянный смех героя нередко бесчеловечен [Островский 5: 30].

Общие точки соприкосновения можно увидеть не только в «заряженности» [Достоевский: 278] героев романа и драмы безжалостным смехом, но и в их жестах, и в судьбах. Прежде всего, отметим параллели между Паратовым и Ставрогиным. Доминирующие идеи образов и их масштаб, безусловно, не совпадают, как и представления писателей о месте выведенных ими типов в российской жизни. Паратов — не Иван-Царевич, который мог бы сыграть особенную роль в жизни русского народа, и не «воплощение русского хаоса в рамках личности» [Мелетинский: 113]. Ему незнакомы ставрогинские «метания между добром и злом, между полнейшим атеизмом и верой, силой и бессилием» [Мелетинский: 117].

Островский иначе понимает и суть времени: она — в наступлении «золотого века», но «золотого» в паратовском истолковании: утвердившего власть и право «золота» [Островский 5: 74]. Его главная примета — не безверие, а бессердечие, и Паратов, в душе которого «торгашество» побеждает «благородные чувства», — герой этого времени [Островский 5: 62].

Первые рецензенты характеризовали Паратова как «кутилу» [Прохоров: 504]. Современные исследователи относят героя к типу «красавца-мужчины» — одному из типов, которыми «мыслит» Островский [Чернец: 76]. Его знак — мотив «бешеных денег», — таких, что в «кармане не удержишь» [Островский 3: 238]. «Красавец-мужчина», в свою очередь, рассматривается как своего рода антипод другого нарождающегося типа — «делового человека», которому сопутствует мотив «умных денег» [Чернец: 76].

Но Паратова сложно отнести только к одному из типов: он соединяет приметы и «делового человека», и «красавца-мужчины». Паратов — «блестящий барин» [Островский 5: 8], он, как и другие «красавцы-мужчины» у Островского, «мотоват», «с шиком живет» [Островский 5: 11], его деньги — «бешеные». Но Паратов и «судохозяин» [Островский 5: 8], он проводит, хотя и unsuccessfully, деловые операции, пытаясь спасти «умные деньги». Поняв, что не ему «новые обороты заводить», Паратов выгодно «продает свою волюшку» [Островский 5: 41] — «берет в приданое золотые прииски» [Островский 5: 26].

Мотивы денег, «расчета», выгодной женитьбы, действительно, доминируют в истории Паратова. Но в отличие от других «красавцев-мужчин» у Островского (например, Дульчина и Окоемова), представленных только искателями богатых невест, Паратов обрисован как более сложный, многогранный и противоречивый человек, причем и в репликах «легкомысленного джентльмена» [Островский 5: 41], как называет себя Паратов, и в высказываниях о нем (Ларисы, Карандышева, Вожеватова) есть несомненные параллели со Ставрогиным, «самым изящным джентльменом» [Достоевский 7: 42], по определению Хроникера.

Оба героя кажутся особенными окружающим: на Ставрогина смотрят, «как на солнце» [Достоевский: 231] или как на «свет и солнце» [Достоевский: 493]. Паратова влюбленная в него Лариса признает «идеалом мужчины» [Островский 5: 22], но и другие жители города

встречают его с «радостью на лицах», «сияя» и проч. [Островский 5: 39]. Примечательно, что и герою романа [Достоевский: 263–264], и герою драмы [Островский 5: 24, 41] сопутствует сравнение с «соколом» (причем повторяющееся), призванное подчеркнуть очевидное для всех превосходство и Ставрогина, и Паратова над окружающими.

Подобно Ставрогину, «смелому и самоуверенному» [Достоевский: 42], Паратов смел и дерзок [Островский 5: 22]. И эта характеристика героя Ларисой подтверждается эпизодом поединка с кавказским офицером: Паратов добровольно становится мишенью для «отличного стрелка» [Островский 5: 22]. Но, скорее всего, прав Карандышев, когда объясняет смелость Паратова тем, что у него «сердца нет» [Островский 5: 23]. Для Паратова действительно «ничего заветного нет», «что такое “жаль”», он не знает [Островский 5: 26]. «Блестящий барин», не задумываясь, хладнокровно жертвует не только своей жизнью, но и «девушкой, которая для него дороже всего на свете, и не побледнеет» [Островский 5: 22].

И здесь тоже можно провести явную параллель со Ставрогиным, для которого «ничего не значит пожертвовать жизнью, и своею, и чужой» [Достоевский: 393]. По словам Достоевского, Ставрогин «принадлежал к тем натурам, которые страха не ведают. На дуэли он мог стоять под выстрелом противника хладнокровно, сам целить и убивать до зверства спокойно <...>» [Достоевский: 196]. Однако в «натуре» Ставрогина Достоевский видит и разрушающее ее влияние нового времени. Сравнивая своего героя с «легендарными господами», представлявшими ту же «натуру», но в «доброе старое время» (с декабристом Л-ным (Луниным) и Лермонтовым), Достоевский признает в Ставрогине отсутствие цельности, неспособность ощутить наслаждение от собственного бесстрашия и власть злобы — «холодной», «спокойной» и «разумной», то есть, заключает автор «Бесов», «самой отвратительной и самой страшной» [Достоевский: 197]. Паратов, в сущности, являет версию той же «натуры», но, пожалуй, еще более измельчавшей под влиянием веяний «золотого века».

Как и в загадочном Ставрогине, в Паратове, этом «мудреном» [Островский 5: 15], как говорит Вожеватов, человеку, смелость, широта души, щедрость и способность испытывать «благородные чувства» соединяются с чрезмерной гордостью, «развращенностью» и «жесто-

костью» [Достоевский: 798]. Можно сказать, что и Паратов, подобно Ставрогину, исполняет роль «отрицательного русского Фауста, отрицательного потому, что в нем угадана любовь и с нею неустанное стремление, которое спасает Фауста <...>» [Иванов: 336], с тем только отличием, что Ставрогин все же видит в любви «свет» [Достоевский: 489], а герой Островского считает любовь чувством, нужным только «для домашнего обихода» [Островский 5: 44].

Преувеличивает ли Паратов, когда говорит о себе: «<...> во мне врожденного торгашества нет; благородные чувства еще шевелятся в душе моей» [Островский 5: 62]? Скорее всего, нет: Паратов может отдать бедным «все деньги, которые были с ним» [Островский 5: 23], он понимает свою вину перед Ларисой. Но его «благородные чувства» все же подчиняются «торгашеству», пусть и не врожденному, но приобретенному под влиянием веяний времени, что принципиально отличает Паратова от Ставрогина, над которым «расчет» не властен.

Судьбы жертв Ставрогина и Паратова — Лизы Тушиной и Ларисы Огудаловой — также и сближают героев драмы и романа, и одновременно обнаруживают несовпадения в психологических рисунках образов. В поступках и словах Паратова, увозящего Ларису от жениха, как и в поведении Ставрогина в эпизоде с Лизой, доминируют гордость [Островский 5: 43] и «самолюбие» [Достоевский: 488]. Лариса Огудалова, как и Лиза Тушина, гибнет наутро после прихода к «обворожительному, как демон» [Буданова: 702], герою, и Паратов, подобно Ставрогину, оказывается косвенным виновником убийства героини.

Но вина Паратова значительнее. Провозглашая (вероятнее всего, что с иронией) брак «делом священным» [Островский 5: 44], Паратов не говорит Ларисе, что он обручен. Он обманывает Ларису, и его обман — «безбожен» [Островский 5: 76]. Ставрогин же, скорее, обманывает самого себя — обманывает надеждой обрести в любви к Лизе «свет».

Но только ли играет Паратов в сцене с Ларисой, когда говорит о мечте «забыть весь мир» и о «блаженстве» быть ее «рабом» [Островский 5: 62]? Возможность обмана Ларисы предполагают и Кнуров, и Вожеватов, который признает, что Паратов «ни над чем не задумается», добиваясь цели [Островский 5: 62]. Но интертекстуальные «ключи» к эпизоду все же позволяют говорить и о более сложной мотивации поведения героя. Как уже отмечалось выше, эти «ключи» — те же, что

и в романе «Бесы», в эпизодах с участием Ставрогина и Лизы Тушиной. В жестах и репликах Паратова «сквозят» аллюзии не только на «премудрого змия» (или Мефистофеля), но и на карамзинского Эраста, увлеченного «бедной Лизой» и искренне мечтающего обрести «чистые радости» в любви к ней [Карамзин: 611], и на пушкинского Дон Гуана, «безбожного развратителя», готового «переродиться» под влиянием любимой женщины [Пушкин: 325–326]. И эти аллюзии, думается, усложняют и углубляют психологический рисунок и образа Паратова, становятся свидетельством не только актерства и скрытого демонизма героя, но и, возможно, существования «благородных чувств» в нем.

Дополнительные коннотации в смысл эпизода вносит «литературное припоминание» о последнем разговоре Ставрогина и Лизы Тушиной. Герой драмы во время объяснения с героиней также кажется «раздвоенным». Но суть раздвоения иная: если в душе Ставрогина идет борьба между стремлениями к добру и злу, между потребностью веры и безверием, «светом» и «тьмой», то Паратов выбирает между «благородными чувствами» и «расчетом». Он не ищет в любви «свет», только «блаженство» [Островский 5: 62]. И его слова о готовности «бросить все расчеты» и найти «блаженство» у «ног» любимой женщины [Островский 5: 62] отражают не выстраданное желание обновления, а минутный порыв.

О раздвоенности и одновременно об измельчании героя Островского (по сравнению с героем Достоевского и, особенно, с «легендарными господами», представителями той же человеческой «натуры» [Достоевский: 196]) свидетельствуют и другие «интертекстуальные» ключи, объединяющие его со Ставрогиным: параллели с шекспировскими героями — Гамлетом и принцем Гарри, травестированной версией которых предстает Паратов.

Сравнения Ставрогина с принцем Гарри и Гамлетом эксплицируются в повествовании: они выступают (следует согласиться с А. Б. Креницыным) «важным ориентиром для правильного понимания образа Ставрогина» [Креницын 1998: 169]. Но, думается, «комический характер» этих сравнений все же преувеличен исследователем. Сравнения с шекспировскими героями оказываются знаками противоречий героя Достоевского или его потенциальных возможностей. Как и другие аллюзии у Достоевского, параллели с шекспировскими героями «служат экономии художественных средств и чрезвычайно динамизируют характеристику героев» [Назирова 1974: 206].

Ставрогин действительно отмечен той двойственностью, которую признает в себе Гамлет. Но если Гамлет осознает в себе слабость воли («Я горд, мстителен, честолюбив, готов на зло, и только воли у меня недостает сделать все злое, что могу придумать злого» [Гамлет 1893: 49]), то героя Достоевского останавливает другое противоречие — столь же мучительное для него стремление к «свету», который мог бы «озарить его сердце» [Достоевский: 489], и неверие в его возможность.

То же противоборство добра и зла сопутствует и истории души принца Гарри, аллюзия на образ которого также эксплицируется в повествовании о герое Достоевского, причем параллели между персонажами еще более очевидны. Благородство [Шекспир 1959: 105] и одновременно готовность к «неистовому» разврату [Шекспир 1959: 106], к «распутству и позору» [Шекспир 1959: 9] — антитеза, доминирующая в истории души принца Гарри (в первой части шекспировской хроники), и эта же антитеза определяет повествование о том периоде жизни Ставрогина, который Верховенский назвал «насмешливым» [Достоевский: 179]. Подобно принцу Гарри, Ставрогин «коснулся самой низкой струны самоуничтожения» и «побратался с целой сворой трактирных слуг» [Шекспир 1959: 41], и он тоже «лишается преимуществ» (пусть и не «царственных»), «с подонками общаясь» [Шекспир 1959: 74].

Но принцу Гарри «былое зло» идет «на пользу» [Шекспир 1959: 213], он преображается, когда становится королем Генрихом V. Ставрогин же не может забыть о совершенном им зле. Мысль о нереализованном преображении Ставрогина, на которое и указывало сравнение с принцем Гарри, усиливает не столько иронический смысл сравнения, сколько, думается, трагическую тональность в повествовании о герое Достоевского, «великом грешнике, насмерть отравленном своей виной» [Назирова 2013: 80].

Душевные противоречия Паратова не так остры и значительны, как противоречия шекспировских героев или героя Достоевского. Паратов только играет роль Гамлета (в эпизоде первой встречи с Ларисой после его внезапного отъезда год назад, отводя Ларисе роль Гертруды). У него, как и у Ставрогина, есть и воля, чтобы «сделать все злое», что он может «придумать злого», только это «зло» не столь масштабно. Менее очевидны в истории Паратова и аллюзии на образ принца Гарри, но их можно увидеть в некоторых подробностях жизни героя Островского

(и Паратов «побратался с целой сворой трактирных слуг», и он «водится» [Островский 5: 45] с людьми, которые гораздо ниже, чем он, стоят на социальной лестнице). Но «благородные чувства» Паратова если и «шевелиются», то не властвуют над героем. «Расчет» определяет его поступки [Островский 5: 71].

Параллели между другими героями драмы и романа — Вожеватовым и Петром Верховенским — также обнаруживают психологическое родство и различие героев и — одновременно — сходство способов характеросложения в романе и драме: «свободное сочетание» жизненных наблюдений над типами русских людей с «литературными мотивами» [Назирова 1974: 206], открывающими вечные «пласты» образа героя.

Петр Верховенский — «частичный» двойник Ставрогина, его «обезьяна» [Достоевский: 494], Лепорелло при Дон Гуане: и он выступает в роли «премудрого змия» (или Мефистофеля), соблазняя Лизу и привозя ее к Ставрогину, чтобы «позабавить» его [Достоевский: 494]. И те же роли выполняет и Вожеватов — подражатель и «частичный» двойник Паратова, исполнитель его тайных или явных замыслов. Вожеватов «развращает понемножку» Ларису Огудалову, когда наливает ей «лишний стаканчик шампанского» или привозит романы, «которые девушкам читать не дают» [Островский 5: 14]. Он участвует в «потехе» над Робинзоном и Карандышевым, подхватывая шутки Паратова и помогая их сделать «смешнее» [Островский 5: 64].

Сближают Вожеватова и Верховенского и их готовность играть «людьми как пешками» [Достоевский: 514], выбираемые ими маски простодушных и добродушных людей — маски, которые они мгновенно могут сбросить, а также «заряженность» смехом. Обоих героев называют «шутами» [Достоевский: 232, 497; Островский 5: 30], и это сравнение явно обретает и в романе, и в драме демонические коннотации.

Петр Верховенский «обыкновенно» «никогда не казался серьезным, всегда смеялся, даже когда злился <...>» [Достоевский: 287, 460]. Репарка «смеется», мотивы «смеха» и «потехи» также устойчиво сопутствуют и «шуту» Вожеватову: он смеется над трагедиями дочерей Огудаловой [Островский 5: 13], над «скандалищем здоровым» в доме Огудаловой, разыгравшимся после отъезда Паратова и появления кассира, укравшего казенные деньги [Островский 5: 15], над Ларисой, ко-

торая «чуть не умерла с горя», когда уехал Паратов [Островский 5: 15], но вынуждена веселить гостей в доме матери, над попыткой самоубийства Карандышева [Островский 5: 16] и т. д.

Несомненные параллели можно провести и между героинями романа и драмы: обе они воспринимают своих женихов как «соломинку», как спасение от любви к «обворожительному, как демон», герою. Лиза готова «из-под венца» прибежать к Ставрогину, стоит ему «только кликнуть» [Достоевский: 213]. И Лариса бросает ради Паратова, приехавшего на один день, «жениха, с которым ей жить всю жизнь» [Островский 5: 70–71]. И обе они погибают на следующее утро после своего бегства от жениха. Героинь сближает и абсолютное доверие к словам избранника, и готовность идти за ним «на край света» [Достоевский: 496] или нести с ним его «цепи» [Островский 5: 76].

Общие точки обнаруживают и сопутствующие Лизе Тушиной и Ларисе Огудаловой мотивы, обретающие и символические смыслы, — музыки, птицы, безумия, решетки, а также аллюзии на образы Офелии, Гретхен, «бедной Лизы» — важные слагаемые «вечного» плана в образах двух героинь.

Обе героини воспринимаются окружающими как «необычайные существа» [Достоевский: 80] или как «эфир» [Островский 5: 31], и одним из знаков их необычности, отличающих их «прекрасных стремлений» [Достоевский: 106], их внутренне-внешней красоты оказывается мотив музыки. С музыкой сравнивается голос Лизы Тушиной [Достоевский: 103]. Пение Ларисы Огудаловой, ее «очаровательный» голос [Островский 5: 60, 62] создают поэтический ореол образа героини, чуждой всему «житейскому», «тривиальному» [Островский 5: 31].

Мотив летящей птицы появляется в повествовании о последних минутах жизни Лизы Тушиной: она напоминает птицу, когда, выбежав из дома Ставрогина, летит, «не зная куда» [Достоевский: 500]. В романе это сравнение синонимично мотивам «срывания», «полета вниз головой», которые содержат аллюзии на евангельский сюжет о гадаринском бесноватом — ключевой и сквозной в описании «беснующейся провинции», всех «безумных и взбесившихся» [Достоевский: 610–611], в том числе и Лизы Тушиной, оказавшейся во власти хаоса [Достоевский: 106].

В пьесе Островского сравнение с птицей — чайкой — имплицитно имя героини, но оно имеет, скорее, иной смысл, выступая еще одним

знаком отличающих героиню стремления к другой жизни и ее поэтичности.

Обеих героинь их матери называют сумасшедшими [Достоевский: 155; Островский 5: 39], однако в драме это сравнение является знаком не одержания Ларисы «духами безбожия и своеволия», а только ее слепой привязанности к Паратову. Но и в романе, и в драме мотив сумасшествия актуализирует аллюзии на образы Офелии и Гретхен, призванные подчеркнуть трагизм судьбы героинь, их роль жертвы человеческих страстей или темных сил.

Дополнительные функции выполняют и аллюзии на образ героини повести Карамзина «Бедная Лиза». Сравнение с «бедной Лизой» эксплицируется в повествовании о Лизе Тушиной [Достоевский: 473, 503], оно содержится в ее имени, в ее стремлении бежать из дома Ставрогина «в лес», в «поле», в способности героини воплощать для героя мечту о возможности иной, чистой жизни, «утраченной гармонии с мирозданием», в мотивах грехопадения и смерти [Криницын 2017: 104, 110].

В эпизодах с Ларисой память о судьбе карамзинской Лизы имплицитно используют слова Кнурова, назвавшего Ларису «бедной девушкой» [Островский 5: 16], мечтания героини Островского об «уединении» и «тишине» [Островский 5: 21], о кажущемся ей «раем» «тихом уголке» на лоне природы, где она будет «гулять по лесам, собирать ягоды и грибы» [Островский 5: 34], сравнение с «пастушкой» [Карамзин: 514; Островский 5: 34]. Эти мечтания, как и корзинка, которую Лариса приготовила для жизни в «тихом уголке», напоминают идиллическое начало повествования о карамзинской героине, собиравшей и продававшей цветы и ягоды [Карамзин: 607], или мечту Эраста о «рае» с Лизой в «дремучих лесах» [Карамзин: 615]. Аллюзии на историю Лизы и Эраста содержат и перипетии жизни Паратова (и Эраст разорился и решил «поправить свои обстоятельства» женитьбой на богатой невесте [Карамзин: 619]), и отводимая Паратовым Ларисе роль той, рядом с которой можно «забывать весь мир» [Островский 5: 62], и даже расставание героев: Лизу должен проводить «со двора» слуга [Карамзин: 619], Ларису — довести до дома спутник-шут Паратова Робинзон.

В «Бесах» символическую роль играет решетка вокруг дома Ставрогиных, у которой ждет Лизу ее жених Маврикий Николаевич [Достоевский: 493]. Садовая решетка — знак иллюзорности рая, в который стремилась героиня, и той преграды, через которую она переступи-

ла. Страшной расплатой за «переступание» будет убийство героини. В «Бесприданнице» недолгое и иллюзорное счастье Ларисы Дмитриевны тоже завершается убийством, и решетка над обрывом также обретает символический смысл: это символ преграды между желаемым, мечтой (о заволжском «рае» или «рае» с Паратовым) и реальностью.

Отметим и еще одну параллель, но менее очевидную: последние слова умирающей Ларисы о прощении («Я ни на кого не жалею, ни на кого не обижаю... вы все хорошие люди... я вас всех... всех люблю» [Островский 5: 81]), поражающие исследователей своим мелодрамматизмом, во многом близки той истине, которой делится с Лизой Тушиной случайно повстречавшийся на ее пути к «роковому дому», где ее ждет смерть, Степан Трофимович Верховенский. Он говорит именно о прощении всех как условия для того, чтобы «разделаться с миром и стать свободными вполне <...>»: «Nous sommes tous malheureux, mais il faut les pardonner tous» [Достоевский: 502].

Отмеченные параллели, свидетельствуя о продолжающемся «диалоге» двух великих писателей, обнаруживают и его напряженность, несомненные расхождения Достоевского и Островского в понимании сути времени и определяющих русскую жизнь социально-нравственных процессов. По-разному воспринимая «правду» жизни и принципы ее воплощения в искусстве, Достоевский и Островский, однако, решают общую задачу — «сопряжения “духа времени” и попыток понять вечные тайны человеческой души» [Лакшин: 478] — и находят во многом схожие способы ее решения. Среди таких способов — прием «частичного» двойничества (Ставрогина и Верховенского, Паратова и Вожеватова), «многосоставность» образов героев, образуемая соединением наблюдений над человеческими типами и аллюзиями на «вечных» героев, и многоплановость сюжетных коллизий, содержащих проекции на вечные сюжеты.

Список литературы
Источники

- Достоевский Ф. М.* Собр. соч.: в 15 т. Л.: Наука, 1988–1991. Т. 7. 848 с.
Новский Л. (Луженовский Н. Н.) Воспоминания об Островском // А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1966. С. 285–303.
Карамзин Н. М. Бедная Лиза // *Карамзин Н. М.* Избранные сочинения: в 2 т. М.; Л.: Худож. лит., 1964. Т. 1. С. 605–621.
Островский А. Н. Полн. собр. соч.: в 12 т. М.: Искусство, 1973–1880. Т. 5. 543 с.
Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. М.: Правда, 1981. Т. 4. 432 с.
Шекспир У. Гамлет. Трагедия в 5 действиях / пер. с английского Н. А. Полевого. СПб.: Изд-е А. С. Суворина, 1893. 195 с.
Шекспир У. Полн. собр. соч.: в 8 т. М.: Искусство, 1957–1960. Т. 4. 1959. 650 с.

Исследования

- Альми И. Л.* Достоевский и Островский: смысл идеологических сопряжений; грани типологической близости // *Альми И. Л.* Внутренний строй литературного произведения. СПб.: Скифия, 2009. С. 272–286.
Буданова Н. Ф. Примечания // *Достоевский Ф. М.* Собр. соч.: в 15 т. Л.: Наука, 1990. Т. 7. С. 675–708.
Бем А. Л. «Сумерки героя (Этюд к работе: Отражение «Пиковой дамы» в творчестве Ф. М. Достоевского) // «Бесы»: антология русской критики / сост. Л. Сараскина. М.: Согласие, 1996. С. 662–667.
Иванов В. И. По звездам. Борозды и межи. М.: Астрель, 2007. 1137 с.
Карпушкина Л. Шекспировские мотивы сорокового опуса. Иронический подтекст в пьесе «Бесприданница» // Вопросы литературы. 2016. № 2. С. 157–170.
Криницын А. Б. Шекспировские мотивы в романе Ф. М. Достоевского «Бесы» // К 60-летию профессора Анны Ивановны Журавлевой: сб. ст. М.: Диалог-МГУ, 1998. С. 161–173.
Криницын А. Б. Повесть «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина в творчестве Ф. М. Достоевского // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2017. № 1–2. С. 102–116.
Лакшин В. Островский (1878–1886) // *Островский А. Н.* Полн. собр. соч.: в 12 т. М.: Искусство, 1975. Т. 5. С. 475–498.
Мелетинский Е. М. Заметки о Достоевском. М.: РГГУ, 2001. 190 с.
Михновец Н. Г. «Гроза» — «Кроткая» — «Бесприданница»: история метасюжета и проблема постижения факта действительности // Печать и слово Санкт-Петербурга: Петербургские чтения 2012. СПб.: Петербургский ин-т печати, 2013. Ч. II: Литературоведение. С. 100–112.
Михновец Н. Г. Ф. М. Достоевский и А. Н. Островский в процессе познания народа (1860-е гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2021. Т. 18. № 3. С. 460–478. <https://doi.org/10.21638/spbu09.2021.303>
Мокина Н. В. Мотив «веселья» и функции смеха в произведениях Островского и Чехова // А. П. Чехов и А. Н. Островский. По материалам Пятых международ-

ных Скафтымовских чтений: сб. научных ст. М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2020. С. 297–317.

Назирова Р. Г. О прототипах некоторых персонажей Достоевского // Достоевский: материалы и исследования. Л.: Наука, 1971. Т. 1. С. 202–219.

Назирова Р. Г. Материалы к монографии о романе Ф. М. Достоевского «Бесы» // Назировский архив. 2013. № 2. С. 7–83. URL: <http://nevmenandr.net/nazirov/journal.php> (дата обращения: 10.04.2023).

Панченко А. М. Я эмигрировал в Древнюю Русь. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2008. 544 с.

Прохоров Е. И. Комментарий // *Островский А. Н.* Полн. собр. соч.: в 12 т. М.: Искусство, 1975. Т. 5. С. 499–507.

Тарасова Н. А. «Кроткая» Ф. М. Достоевского и «Бесприданница» А. Н. Островского в текстологическом аспекте // Филологические науки. 2008. № 6. С. 4–13.

Туниманов В. А. Рассказчик в «Бесах» Достоевского // Исследования по поэтике и стилистике. Л.: Наука, 1972. С. 87–162.

Чернец Л. В. Типы «самодура» и «делового человека» в пьесах А. Н. Островского // Наследие А. П. Скафтымова и актуальные проблемы изучения отечественной драматургии и прозы. Материалы вторых международных скафтымовских чтений. Коллективная монография. М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2015. С. 73–86.

Чирков Н. М. О стиле Достоевского. Проблематика, идеи, образы. М.: Наука, 1967. 303 с.

References

- Al'mi, I. L. "Dostoevskii i Ostrovskii: smysl ideologicheskikh sopriazhenii; grani tipologicheskoi blizosti" ["The Meaning of Ideological Conjunctions; the Facets of Typological Closeness]. Al'mi, I. L. *Vnutrennii stroi literaturnogo proizvedeniia* [*The Inner Structure of a Literary Work*]. St. Petersburg, Skifia Publ., 2009, pp. 272–286. (In Russ.)
- Budanova, N. F. "Primechaniia" ["The Notes"]. Dostoevskii, F. M. *Sobranie sochinenii: v 15 t.* [*Collected Works: in 15 vols.*], vol. 7. Leningrad, Nauka Publ., 1990, pp. 675–708. (In Russ.)
- Bem, A. L. "Sumerki geroia (Etiud k rabote: Otrazhenie 'Pikovoi damy' v tvorchestve F. M. Dostoevskogo)" ["Twilight of the Hero (A Study for the Work Reflection of 'The Queen of Spades' in Dostoevsky's Work)"]. "Besy": *antologiya russkoi kritiki* ["Demons": *An Anthology of Russian Criticism*], comp. by L. Saraskina. Moscow, Soglasie Publ., 1996, pp. 662–667. (In Russ.)
- Ivanov, V. I. *Po zvezdam. Borozdy i mezhi* [*By the Stars. Furrows and Boundaries*]. Moscow, Astrel' Publ., 2007. 1137 p. (In Russ.)
- Karpushkina, L. "Shekspirovskie motivy sorokovogo opusa. Ironicheskii podtekst v pèse 'Bespridannitsa.'" ["Shakespearean Themes in 'Opus Forty.' The Ironic Subtext of 'Without a Dowry'"]. *Voprosy literaturey*, no. 2, 2016, pp. 157–170. (In Russ.)
- Krinit'syn, A. B. "Shekspirovskie motivy v romane F. M. Dostoevskogo 'Besy.'" ["Shakespearean Motifs in Dostoevsky's Novel 'Demons.'"]. *K 60-letiiu professora Anny Ivanovny Zhuravlevoi: sbornik statei* [*To the 60th Anniversary of Professor Zhuravleva: Collection of Articles*]. Moscow, Dialog-MGU Publ., 1998, pp. 161–173. (In Russ.)
- Krinit'syn, A. B. "Povest' 'Bednaia Liza' N. M. Karamzina v tvorchestve F. M. Dostoevskogo" ["Karamzin's Story 'Poor Liza' in Dostoevsky's Work"]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya*, no. 1–2, 2017, pp. 102–116. (In Russ.)
- Lakshin, V. "Ostrovskii (1878–1886)" ["Ostrovsky (1878–1886)"]. *Ostrovskii, A. N. Polnoe sobranie sochinenii: v 12 t.* [*Complete Works: in 12 vols*], vol. 5. Moscow, Iskusstvo Publ., 1975, pp. 475–498. (In Russ.)
- Meletinskii, E. M. *Zametki o Dostoevskom* [*Notes on Dostoevsky*]. Moscow, Russian State University for Humanities Publ., 2001. 190 p. (In Russ.)
- Mikhnovets, N. G. "'Grozha' — 'Krotkaia' — 'Bespridannitsa': istoriia metasiuzheta i problema postizheniia fakta deistvitel'nosti" ["'The Storm' — 'A Gentle Creature' — 'Without a Dowry': The History of Meta-Story and the Problem of Understanding the Fact of Reality"]. *Pechat' i slovo Sankt-Peterburga: Peterburgskie chteniia 2012. Chast' II: Literaturovedenie* [*The Press and the Word of St. Petersburg. Petersburg Readings 2012. Part 2: Literary Studies*]. St. Petersburg, Petersburg Institute of Printing Publ., 2013, pp. 100–112. (In Russ.)
- Mikhnovets, N. G. "F. M. Dostoevskii i A. N. Ostrovskii v protsesse poznaniia naroda (1860-e gg.)" ["F. M. Dostoevsky and A. N. Ostrovsky in the Process of Learning about the People (1860s)"]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Iazyk i literatura*, no. 3, 2021, pp. 460–478. <https://doi.org/10.21638/spbu09.2021.303> (In Russ.)
- Mokina, N. V. "Motiv vesel'ia i funktsii smekha v proizvedeniakh Ostrovskogo i Chekhova" ["The Motif of 'Merriment' and the Functions of the Laugh in the Works by Ostrovsky and Chekhov"]. *A. P. Chekhov i A. N. Ostrovskii. Po materialam piatykh*

mezhdunarodnykh Skaftymovskikh chtenii [A. P. Chekhov and A. N. Ostrovsky. *Materials of the 5th International Skaftymovsky Readings*]. Moscow, A. A. Bakhrushin State Central Theatre Museum Publ., 2020, pp. 297–317. (In Russ.)

Nazirov, R. G. “O prototipakh nekotorykh personazhei Dostoevskogo” [“About the Prototypes of Some of Dostoevsky’s Characters”]. *Dostoevskii: materialy i issledovaniia* [Dostoevsky. *Materials and Research*], vol. 1. Leningrad, Nauka Publ., 1971, pp. 202–219. (In Russ.)

Nazirov, R. G. “Materialy k monografii o romane F. M. Dostoevskogo ‘Besy.’” [“The Materials for the Monograph about Dostoevsky’s Novel ‘Demons.’”]. *Nazirovskii arkhiv*, no. 2, 2013, pp. –7–83. URL: <http://nevmenandr.net/nazirov/journal.php> (Accessed 10 April 2023). (In Russ.)

Panchenko, A. M. *Ia emigriroval v Drevniiu Rus’* [I Emigrated to Ancient Rus]. St. Petersburg, Zvezda Publ., 2008. 544 p. (In Russ.)

Prokhorov, E. I. “Kommentarii” [“Comments”]. Ostrovskii, A. N. *Polnoe sobranie sochinenii: v 12 t.* [The Complete Works: in 2 vols.], vol. 5. Moscow, Iskusstvo Publ., 1975, pp. 499–507. (In Russ.)

Tarasova, N. A. “‘Krotkaia’ F. M. Dostoevskogo i ‘Bespridannitsa’ A. N. Ostrovskogo v tekstologicheskom aspekte” [“‘A Gentle Creature’ by F. M. Dostoyevsky and ‘Without a Dowry’ by A. N. Ostrovsky in the Textological Aspect”]. *Filologicheskie nauki*, no. 6, 2008, pp. 4–13. (In Russ.)

Tunimanov, V. A. “Rasskazchik v ‘Besakh’ Dostoevskogo” [“The Narrator in the ‘Demons’ by Dostoevsky”]. *Issledovaniia po poetike i stilistike* [Research on Poetics and Stylistics]. Leningrad, Nauka Publ., 1972, pp. 87–162. (In Russ.)

Chernets, L. V. “Tipy ‘samodura’ i ‘delovogo cheloveka’ v p’sakh A. N. Ostrovskogo” [“Types of a ‘Despot’ and a ‘Business Man’ in Ostrovsky’s Plays”]. *Nasledie A. P. Skaftymova i aktual’nye problemy izucheniia otechestvennoi dramaturgii i prozy* [The Legacy of Skaftymov and Actual Problems of the Study of Domestic Drama and Prose]. Moscow, A. A. Bakhrushin State Central Theatre Museum Publ., 2015, pp. 73–86. (In Russ.)

Chirkov, N. M. *O stile Dostoevskogo. Problematika, idei, obrazy* [About Dostoevsky’s Style. Problems, Ideas, Images]. Moscow, Nauka Publ., 1967. 303 p. (In Russ.)

© 2023. А. А. Федотова

Ярославский государственный педагогический
университет им. К. Д. Ушинского
г. Ярославль, Россия

К вопросу о феномене эпического романа: новая монография о русской классической литературе¹

Аннотация: Читателям предлагается рецензия на новую коллективную монографию о феномене эпического романа, вышедшую под научной редакцией доктора филологических наук В. Г. Андреевой (ИМЛИ РАН) и представляющую собой результат работы известных в России специалистов по русской классике: помимо В. Г. Андреевой авторами стали А. В. Гулин, Н. Л. Ермолаева, С. К. Казакова, Ю. В. Лебедев, В. И. Мельник, Н. Г. Михновец. Автор рецензии анализирует структуру монографии, подчеркивает широту охвата материала, а также привлекательный для читателя и в то же время перспективный научный подход к исследуемой проблематике. В монографии подробно разбираются наиболее значительные романы русской литературы второй половины XIX в. Кажущийся на первый взгляд разнородным литературный материал осмыслен с единой методологической точки зрения, а ключевым для монографии теоретическим понятием выступает термин «эпический роман». В рецензии охарактеризован круг проблем, поднятых в монографии, выделены удачные и нетривиальные наблюдения авторов новой книги.

Ключевые слова: русская классика, эпический роман, И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский.

Информация об авторе: Анна Александровна Федотова, доктор филологических наук, доцент кафедры русской литературы, Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, ул. Республиканская, д. 108/1, 150000 г. Ярославль, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9629-6154>

E-mail: gru_anna@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 15.03.2023

Дата одобрения статьи рецензентами: 08.04.2023

Дата публикации статьи: 25.06.2023

Для цитирования: Федотова А. А. К вопросу о феномене эпического романа: новая монография о русской классической литературе // Два века русской классики. 2023. Т. 5, № 2. С. 122–131. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-122-131>

¹ Рецензия на книгу: Феномен эпического романа в русской литературе второй половины XIX века: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский: монография / В. Г. Андреева, А. В. Гулин, Н. Л. Ермолаева, С. К. Казакова, Ю. В. Лебедев, В. И. Мельник, Н. Г. Михновец; под науч. ред. В. Г. Андреевой. Кострома: Костромской государственный университет, 2022. 512 с. <https://doi.org/10.34216/russian-epic-novel-2022>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 122–131. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 122–131. ISSN 2686-7494
Book Review

© 2023. Anna A. Fedotova

Yaroslavl State Pedagogical University
named after K. D. Ushinsky
Yaroslavl, Russia

On the Phenomenon of the Epic Novel: A New Monograph on Russian Classical Literature¹

Abstract: Readers are invited to review a new collective monograph on the phenomenon of the epic novel, published under the scientific editorship of a DSc in Philology V. G. Andreeva (IWL RAS) and which is the result of the work of well-known specialists in Russian classics in Russia. Besides V. G. Andreeva, the authors of the monograph are A. V. Gulin, N. L. Ermolaeva, S. K. Kazakova, Yu. V. Lebedev, V. I. Melnik, N. G. Mikhnovets. The author of the review analyzes the structure of the monograph, emphasizes the breadth of coverage of the material, as well as an attractive for the reader and at the same time promising scientific approach to the issues under study. The monograph examines in detail the most significant novels of Russian literature of the second half of the 19th century. The seemingly heterogeneous literary material is comprehended from a single methodological point of view, and the term “epic novel” is the key theoretical concept for the monograph. The review characterizes the range of problems raised in the monograph, highlights the successful and non-trivial observations of the authors of the new book.

Keywords: Russian classics, epic novel, I. A. Goncharov, I. S. Turgenev, L. N. Tolstoy, F. M. Dostoevsky.

Information about the author: Anna A. Fedotova, PhD in Philology, Associate Professor, Department of Russian Literature, Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, 108/1 Republican St., 150000 Yaroslavl, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9629-6154>

E-mail: gry_anna@mail.ru

Received: March 15, 2023

Approved after reviewing: April 08, 2023

Published: June 25, 2023

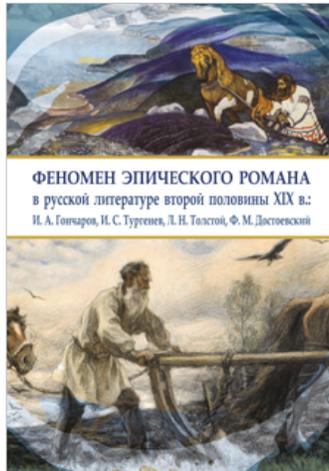
For citation: Fedotova, A. A. “On the Phenomenon of the Epic Novel: A New Monograph on Russian Classical Literature.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 122–131. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-122-131>

¹ Book review: Andreeva, V. G., editor. *Fenomen epicheskogo romana v russkoi literature vtoroi poloviny XIX veka*: I. A. Goncharov, I. S. Turgenev, L. N. Tolstoy, F. M. Dostoevskii: kollektivnaia monografiia [The Phenomenon of the Russian Epic Novel of the Second Half of the 19th Century: I. A. Goncharov, I. S. Turgenev, L. N. Tolstoy, F. M. Dostoevsky: A Collective Monograph]. Kostroma, Kostroma State University Publ., 2022. 512 p.

Новая коллективная монография «Феномен эпического романа в русской литературе второй половины XIX века: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский», вышедшая под научной редакцией доктора филологических наук В. Г. Андреевой (ИМЛИ РАН), представляет собой результат работы известных в России специалистов по русской классике. Среди авторов, написавших главы для научного труда, помимо В. Г. Андреевой, — А. В. Гулин, Н. Л. Ермолаева, С. К. Казакова, Ю. В. Лебедев, В. И. Мельник, Н. Г. Михновец. Поддержку работе ученых оказал Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ).

Масштаб монографии впечатляет. В ней подробно разбираются одни из наиболее значительных произведений русской литературы второй половины XIX в.: романы Л. Н. Толстого «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресение»; «Обрыв» И. А. Гончарова; романы И. С. Тургенева «Дым» и «Новь»; роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» и др. Кажущийся на первый взгляд разнородным литературный материал осмыслен с единой методологической точки зрения, а ключевое для монографии теоретическое понятие — «эпический роман» — детально рассмотрено во введении.

По мнению авторов монографии, понятие «эпический роман» не следует вписывать в один ряд со ставшими уже традиционными формулировками типа «психологический роман», «идеологический роман», «общественный роман» и т. д. «Эпический роман» мыслится в исследовании как «жанровая надстройка» [Феномен: 10], которая утверждает «особую глубину и цельность русских романов» [Феномен: 10]. Для «эпического романа» характерны такие основополагающие признаки, как присутствие объективного и беспристрастного автора, значительный охват событий, изображение жизни народа, масштабность конфликта, наконец, присутствие православных идеалов и норм поведения, с учетом которых, как правило, и оцениваются герои. Немаловажную роль в формировании феномена русского эпического романа имеет идея соборности,



В книге подчеркивается: «Русский герой неотделим от народа, прецедентная картина мира ассоциируется с понятием “хоровое”, с тем, что в России называлось “всем миром”» [Феномен: 11].

Обоснованная и доказанная в монографии идея о том, что самобытность русского классического романа заключается в его эпическом характере, дает авторам возможность целостно взглянуть на этот уникальный не только в русской, но и в мировой литературе феномен. Русский эпический роман рассматривается как с точки зрения его национального своеобразия и исторической специфики, так и в жанровом ракурсе, и — шире — в аспекте поэтики в целом.

Первая глава монографии — «Идея национального и всечеловеческого единения в эпосе Л. Н. Толстого» — начинается с параграфа, который, на наш взгляд, является знаковым для осмысления толстовского творчества: «Образ земли как одна из эпических основ художественных миров романов Л. Н. Толстого». В посвященной Толстому исследовательской традиции среди констант, определяющих эпический характер творчества писателя, выделяются мотивы смерти и рождения, войны и мира как особого состояния единения людей. Автор параграфа предлагает дополнить этот ряд мотивом земли, который, как доказывается в монографии, является одним из центральных смыслообразующих мотивов не только в «Войне и мире», но также в романах «Анна Каренина» и «Воскресение». Комплексное исследование мотива

земли, который на глубинном уровне, безусловно, связан с мировоззрением Толстого, позволяет говорить о нем как о значимой эпической основе всего романного творчества автора. Интересным и важным звучит вывод В. Г. Андреевой о преемственности между ранними и поздними произведениями Толстого, ведь общепринятой, скорее, является идея о принципиальных отличиях между различными периодами деятельности писателя.

Второй параграф главы о Толстом «А. С. Хомяков и «мысль народная» в романе-эпопее Л. Н. Толстого “Война и мир”» продолжает размышления о специфике эпического романа в творчестве писателя. Ю. В. Лебедев рассматривает «Войну и мир» в рецептивном аспекте и подчеркивает, что генетически основные идеи Толстого о философии истории восходят к трудам знаменитого русского теоретика славянофильства А. С. Хомякова. По мнению ученого, наиболее близка Толстому идея Хомякова о том, что «Православная Церковь в отличие от католической и протестантской» представляет собой «союз взаимной христианской любви верующих душ» [Феномен: 61]. Именно христианская любовь превращает толпу разъединенных между собой людей в нравственную общность, которой и является русский народ.

С точки зрения христианской антропологии рассматривается в следующем параграфе и образ императора Александра I в «Войне и мире». В монографии проводится анализ мастерски использованного Толстым приема взаимодействия различных точек зрения на героя, благодаря которым складывается целостный и неоднозначный образ государя. В итоге анализа звучит обоснованный вывод о том, что писатель «демонстрирует глубинную связь Александра I и православного народа, где царь и знает, и чувствует свой народ, а народ поддерживает государя, понимая, что его личные решения во многом и будут выражать народную волю» [Феномен: 83].

Четвертый и пятый параграфы толстовской главы монографии — «Богучаровский бунт в романе-эпопее “Война и мир”» и «Декабристы в эпическом отображении Л. Н. Толстого и Н. А. Некрасова». Сделанный в монографии акцент на событиях «богучаровского бунта» кажется нам весьма удачным, так как посвященные ему эпизоды романа-эпопеи необходимы Толстому для того, чтобы показать реальную сложность народной жизни. Анализ показывает многогранность авторского понимания народных героев, однако в целом А. В. Гулин приходит к выводу о том,

что «авторская позиция Толстого в “мятежном” богучаровском эпизоде, подобно тому, как это происходит во всем огромном романе, ясно отражала авторскую философскую концепцию — во многом утопическую» [Феномен: 96]. Интерес вызывают также размышления о сходствах и различиях в изображении декабристского движения у Толстого и Некрасова, о причинах невозможности для Толстого написать отдельное эпическое произведение на материале событий восстания 1825 г.

Заключительные параграфы главы, посвященной творчеству Толстого, завершают комплексное рассмотрение романов писателя с точки зрения присутствия в них эпического начала. В параграфе «“Анна Каренина” — эпический роман из современной жизни» доказывается, что, несмотря на совмещение элементов разных литературных родов, произведение, несомненно, относится к эпическому роману, и среди важных показателей последнего — как наличие специфической для этого жанра авторской точки зрения, так и присутствие религиозного сознания. Эпическую же природу романа «Воскресение», рассмотренную в параграфе «Роман “Воскресение” как эпический: авторский подход к изображению фактов современности и их оценка» определяет тот факт, что «отдельное, индивидуальное» предстает в нем как «включенное в общее, народное» [Феномен: 128].

Значимым представляется и последний параграф первой части монографии «Образ эпической героини в романе “Воскресение”». Он представляет собой комплексный анализ важного в художественной концепции романа образа Марьи Павловны Щетиной в ее взаимодействии с другими персонажами «Воскресения»: Владимиром Ивановичем Симонсоном, Катюшей Масловой, Дмитрием Нехлюдовым. Эпичность образа определяется тем, что «Толстой поднимает свою героиню на своеобразный пьедестал над другими образами, отмечая ее чуткость, жертвенность, деятельную силу, постоянную готовность прийти на помощь и жизнь по законам любви и добра» [Феномен: 150].

Вторая глава монографии «Эпическая традиция в освоении русскими классиками второй половины XIX века» посвящена рецептивным аспектам формирования эпической традиции в русской литературе интересующего авторов периода. В ней рассматриваются такие важнейшие эпические источники отечественной классики, как древнегреческий миф, фольклор и дантовский эпос. Например, в параграфе «От древнегреческого мифа к русским литературным архетипам в романах

И. А. Гончарова» проводится анализ «Обыкновенной истории» с точки зрения реализации в ней мифа об Эдипе, а среди источников «Обломова» выделяются фольклорные прототипы главного героя — Емеля или Иван-дурак. Роман «Обрыв» анализируется авторами монографии как в ракурсе актуализации в нем Гончаровым религиозных и мифологических сюжетов, так и с точки зрения создания писателем собственных литературных архетипов.

В сопоставительном аспекте рассмотрено творчество русских классиков в параграфе «Дантовский эпос в русской литературе: Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, Ф. М. Достоевский». Актуальными и новаторскими по существу кажутся выраженные в монографии идеи о том, что «Божественная комедия» Данте, ее трехчастная структура и поэтика оказались особенно востребованными теми отечественными писателями, которые поднимали в своем творчестве проблему русского человека, причем преимущественно в религиозном аспекте, с точки зрения личного духовного спасения.

Заключительный параграф второй главы «Н. В. Гоголь и Л. Н. Толстой: преемственность эпической традиции» посвящен фактически неизученному до сих пор в литературоведении вопросу художественных связей Н. В. Гоголя и Л. Н. Толстого. В разделе монографии подробно анализируется вопрос о сложном и порой неоднозначном отношении Толстого к Гоголю, которое, тем не менее, проходило под знаком большого сходства мироощущений двух писателей, что, как показано в параграфе, наиболее явно отразилось в многочисленных идейных перекличках «Мертвых душ» и «Воскресения».

В третьей главе монографии «Эпическое и романное в художественных мирах И. А. Гончарова» в интересующем авторов исследовании аспекте изучаются различные грани поэтики и проблематики творчества И. А. Гончарова. Так, с точки зрения актуализации архетипического образа камня рассматриваются произведения писателя «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв» в параграфе «Многозначность образа камня в романной трилогии И. А. Гончарова». Весьма интересны наблюдения в параграфе «Светское и “изящное” общество в романах и очерках И. А. Гончарова», автор которого на основании анализа художественных и публицистических произведений писателя приходит к выводу о неизменной симпатии, испытываемой Гончаровым к светскому, аристократическому обществу, не исчезнувшей и в 1870-

е гг., времени все большей демократизации русской жизни. В параграфе «Человек и мир в русском романе: метаморфозы героев «Обыкновенной истории»» предложен новый вариант интерпретации финала романа Гончарова «Обыкновенная история», согласно которому «в финале произведения герои не преобразились, а вернулись к собственному “я”, которое по разным причинам долгое время находилось под спудом» [Феномен: 298–299].

Параграф «Поэтика эпического образа у И. А. Гончарова» вновь возвращает читателя к основной для монографии проблеме. Автор параграфа, В. И. Мельник, закономерно отмечает, что в последние годы происходит расширение трактовки категории эпического, когда наряду с жанрово-родовым пониманием эпическое стало интерпретироваться как специфика художественного мышления того или иного автора. В параграфе высказывается идея о том, что для Гончарова как писателя, несомненно, эпического склада, особенно важна приобщенность его героев к цикличной природной жизни, а также утверждение ритмической повторяемости как основы всех жизненных процессов.

Параграф «Человек играющий в эпосе И. А. Гончарова» посвящен вопросу о межродовых связях произведений Гончарова, в частности о взаимодействии эпического и драматического начал в его творчестве. Этот широкий вопрос поставлен Н. Л. Ермолаевой в монографии в новом для исследований произведений Гончарова аспекте и заключается в анализе так называемого «человека играющего», т. е. героя, для которого характерно отчетливо игровое поведение.

Большой интерес представляют и заключающие главу параграфы, в которых анализируется наименее изученный из всей трилогии Гончарова роман — «Обрыв»: «Романный герой в эпическом дискурсе: к проблеме рецепции романа “Обрыв”» и «Частный интерес и общее благо: отзвук эпохи великих реформ в романе “Обрыв”». В первом из них С. К. Казаковой системно исследуется вопрос рецепции «Обрыва» современниками, во втором роман рассматривается в общем историческом контексте эпохи его написания.

В четвертой главе монографии «Обобщения эпического характера в романах И. С. Тургенева», полностью написанной В. Г. Андреевой, рассматриваются наименее изученные на данный момент аспекты романного творчества Тургенева. Как справедливо замечает В. Г. Андреева, Тургенев, на первый взгляд, достаточно сильно отличается от Толстого

и Гончарова, эпичность мышления которых не может быть подвергнута сомнению. Тем важнее обоснованный в монографии вывод о том, что «важнейшие идейные и художественные находки Тургенева, на которые до сих пор ученые не обращали значительного внимания, обуславливают в его романах выход к национальному эпосу» [Феномен: 375].

Так, в первом параграфе главы «Преемственность поколений в романах И. С. Тургенева» доказывается идея о том, что «лиричные и краткие романы Тургенева являются эпическими по своей сути, формирующими (наряду с романами Гончарова, Толстого, Достоевского) незблемые духовно-нравственные ценности православного мира, которые и стали основой эпического романа» [Феномен: 380], а одной из главных идей, организующих эпичность романов Тургенева, является идея преемственности.

Анализируя относительно мало изученный современным литературоведением роман Тургенева «Дым» в параграфе «Радикализм и аполитизм в романе “Дым”», В. Г. Андреева приходит к выводу о том, что социально-политическая проблематика в «Дыме» отступает перед более глубокими вопросами, что наряду с линией совмещения общенародного и личного обеспечивает эпичность этого произведения.

В третьем параграфе ««Новь» И. С. Тургенева: народная тема как основа романа» и в заключительном параграфе главы «Эпический синтез в позднем творчестве И. С. Тургенева» рассмотрен один из наиболее сложных для современного читательского восприятия итоговый роман Тургенева, каждый герой которого «измеряется именно эпической, народной меркой — способностью к честному, скрупулезному труду и близостью к земле» [Феномен: 430].

На наш взгляд, знаково и даже глубоко символично, что монография, посвященная феномену эпического романа в русской литературе XIX в., важной идеей которой является утверждение духовно-нравственных истоков этого феномена, начинается с главы, посвященной эпосу Толстого, а заканчивается — главой, в центре внимания которой Достоевский, писатель, чьи религиозные прозрения воплотились в совершенно новой и уникальной для отечественной и мировой классики романной форме. Показательно и название этой главы, которое демонстрирует масштаб творчества автора: «Эпический взгляд Ф. М. Достоевского на Россию, русское общество и человека».

Глава состоит из трех параграфов. В первом из них «Эпический разворот сюжета вины от сна Прохарчина к сну Дмитрия Карамазова» Н. Г. Михновец анализируется сквозной для творчества писателя «сюжет» вины, неразрывно связанный с темой нравственного прозрения человека и важнейшей для творчества Достоевского идеей о том, что «все за всех виноваты», наиболее отчетливо выраженной в романе «Братья Карамазовы». Второй параграф «“Пугачевцы” Е. А. Салиаса в рецепции Ф. М. Достоевского: к вопросу об эпичности русского романа» посвящен реакции писателя на роман графа Е. А. Салиаса-де-Турнемира, который современники считали фактически равным эпопее Толстого. В заключительном параграфе главы и монографии в целом «“Братья Карамазовы” Ф. М. Достоевского: “муки раздвоения” на пути к “мировой гармонии”» исследованию подвергается последний роман писателя, заканчивающийся «торжественным исповеданием веры в христианское братство людей и в их бессмертие» [Феномен: 506].

Таким образом, новая коллективная монография представляет собой значительное явление в современном литературоведении. Ее характерными чертами являются серьезная научная база и глубокая теоретическая обоснованность, масштаб поднятых проблем, широта рассмотренного материала, несомненная новизна и наличие актуальных и нетривиальных наблюдений о подвергающихся исследованию классических литературных текстах. Монография «Феномен эпического романа в русской литературе второй половины XIX века: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский», безусловно, заслуживает пристального внимания каждого специалиста по отечественной классике.

Список литературы

Феномен эпического романа в русской литературе второй половины XIX века: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский: коллективная монография / под ред. В. Г. Андреевой. Кострома: Костромской гос. ун-т, 2022. 512 с.

References

Andreeva, V. G., editor. *Fenomen epicheskogo romana v russkoi literature vtoroi poloviny XIX veka: I. A. Goncharov, I. S. Turgenev, L. N. Tolstoi, F. M. Dostoevskii: kolektivnaia monografiia* [The Phenomenon of the Russian Epic Novel of the Second Half of the 19th Century: I. A. Goncharov, I. S. Turgenev, L. N. Tolstoy, F. M. Dostoevsky: A Collective Monograph]. Kostroma, Kostroma State University Publ., 2022. 512 p. (In Russ.)

© 2023. В. В. Тихомиров
независимый исследователь
г. Кострома, Россия

Новая книга о творческом наследии Ф. М. Достоевского в восприятии его современников¹

Аннотация: В данной рецензии рассматривается новое глубокое исследование восприятия современниками, как литературными критиками, так и читателями, сложной и многоцветной картины бытования творческого наследия Ф. М. Достоевского. Автором рецензии отмечается источниковедческая база рассматриваемого исследования, подчеркивается широта взглядов авторов книги, их постоянное стремление понять писателя в главных его идеях и мельчайших наблюдениях. Подчеркивается, что оценка литературной критики в новом издании становится поводом и основой для выявления места Достоевского в общественной и литературной жизни. Представляя книгу, автор рецензии описывает основные ее разделы, уделяет особенное внимание именам забытых писателей и публицистов, движению и поляризации критики.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, литературная критика, эволюция критики, поэтика, идеология, читательская рецепция, критические оценки.

Информация об авторе: Владимир Васильевич Тихомиров, доктор филологических наук, профессор, независимый исследователь, г. Кострома, Россия, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7040-3097>

E-mail: nov6409@kmt.n.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 19.01.2023

Дата одобрения статьи рецензентами: 08.03.2023

Дата публикации статьи: 25.06.2023

Для цитирования: Тихомиров В. В. Новая книга о творческом наследии Ф. М. Достоевского в восприятии его современников // Два века русской классики. 2023. Т. 5, № 2. С. 132–141. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-132-141>

¹ Рец. на книгу: Викторovich В. А., Захарова О. В. Ф. М. Достоевский в русской критике. 1845–1881. Коломна: ИД «Лига». 2021. 536 с.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 132–141. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 132–141. ISSN 2686-7494

Book Review

© 2023. Vladimir V. Tikhomirov

Independent Researcher

Kostroma, Russia

A New Book about the Creative Heritage of F. M. Dostoevsky in the Perception of his Contemporaries¹

Abstract: This review examines a new in-depth study of the perception by contemporaries, both literary critics and readers, of a complex and multi-colored picture of the existence of the creative heritage of F. M. Dostoevsky. The author of the review notes the source base of the study under consideration, emphasizes the breadth of views of the authors of the book, their constant desire to understand the writer in his main ideas and the smallest observations. The assessment of literary criticism in the new edition becomes the reason and basis for identifying Dostoevsky's place in public and literary life. Presenting the book, the author of the review describes its main sections, pays special attention to the names of forgotten writers and publicists, the movement and polarization of criticism.

Keywords: F. M. Dostoevsky, literary criticism, evolution of criticism, poetics, ideology, reader's reception, critical assessments.

Information about the author: Vladimir V. Tikhomirov, DSc in Philology, Professor, Independent Researcher Kostroma, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7040-3097>

E-mail: nov6409@kmtn.ru

Received: January 19, 2023

Approved after reviewing: March 08, 2023

Published: June 25, 2023

For citation: Tikhomirov, V. V. "A New Book about the Creative Heritage of F. M. Dostoevsky in the Perception of his Contemporaries." *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 132–141. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-132-141>

¹ Book review: Viktorovich, V. A., Zakharova, O. V. F. M. Dostoevsky in Russian Criticism. 1845–1881. Kolomna, Publishing House "League," 2021. 536 p.

Свидетельство современников, как всегда пристрастное, не может служить доказательством истины и последним ответом на вопрос; но оно всегда должно приниматься в соображение при суждении о писателях, ибо в нем всегда есть своя часть истины, часто невозможная для потомства.

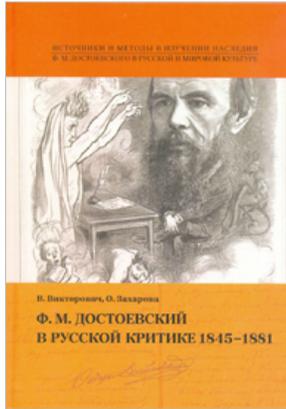
В. Г. Белинский

Эти слова Белинского могут быть эпиграфом к рецензируемой книге, поскольку они определяют ее содержание и смысл научного исследования. Перед нами сложная многоцветная картина бытования творческого наследия Ф. М. Достоевского в восприятии его современников, как литературных критиков, так и читателей.

Впечатляет источниковедческая база исследования: изученные и прокомментированные в монографии материалы потребовали очень большого труда. По-новому осмысливаются известные критические оценки произведений писателя, что очень важно, потому что они получили самостоятельную оценку, а также мало известные, подчас и совсем забытые или представлявшиеся несущественными критические отклики, обнаруженные как в столичной (Петербург и Москва), так и в провинциальной печати.

Оценка и комментирование критических текстов в монографии отличаются объективностью и полнотой, однако это не мешает по достоинству характеризовать плюсы и минусы критического анализа произведений Достоевского. При этом критерием оценки является глубина проникновения в суть художественных текстов, что само по себе предполагает наличие у комментаторов собственного отношения к Достоевскому, понимания его творчества на современном научном уровне.

Писательская и журналистская деятельность Достоевского рассматривается в книге на достаточно широком фоне литературной жизни России того времени. Например, подробно и убедительно показана не только особая позиция журнала «Время», но и его место и роль в со-



временной журналистике. Это относится и к художественным произведениям писателя, особенно к знаменитому романному «пятикнижию». Так, роман «Преступление и наказание» рассматривается в контексте литературных новинок, разумеется, и с учетом критических оценок.

Автор комментария предлагает свое представление о романе, называя его «романом сознания» [Викторович: 199]. Далее это определение используется и по отношению к другим великим романам Достоевского. Комментатор — не простой объективный наблюдатель (и собиратель) критических откликов, он попутно становится своего рода судьей художественных, нравственных, психологических достоинств произведения. В этом же ключе характеризуются сами критические оценки, которые ассоциируются с актуальной в современном литературоведении читательской рецепцией литературного текста — не случайной оказывается более полная (по возможности) характеристика эпистолярия по поводу творчества Достоевского, а также оценка отзывов иностранцев.

Романы Достоевского практически не получили адекватного критического осмысления современников. Лишь в некоторых случаях проявляется углубленное понимание художественного текста и авторской позиции — например, в известном суждении о романе «Идиот» М. Е. Салтыкова-Щедрина, достаточно далекого от автора романа по своей жизненной и литературной позиции [Викторович: 226–227].

В комментариях к критическим суждениям о произведениях Достоевского в ряде случаев ставятся вопросы поэтики, в частности, вопрос о специфике реализма писателя, о правдоподобию художественного

произведения — в представлении литературных критиков. Имеет место и постановка текстологических проблем — так, авторами убедительно атрибутируется статья Н. Н. Страхова о повести «Вечный муж» [Викторович: 232–233]. Посредством анализа критических оценок комментатор так или иначе углубляет смысл художественных текстов Достоевского, происходит четкое и аргументированное деление критических оценок на за и против писателя, причем и апофеоза писателя нет: главная цель комментатора критических отзывов — понять автора романа как будто «изнутри». Не случайной поэтому оказывается основательная характеристика критической позиции наиболее близкого по миросозерцанию Достоевскому Н. Н. Страхова, по отношению к которому В. А. Викторович справедливо подчеркивает, имея в виду особенности его критического анализа: «проблема понимания Достоевского означает... проблему самой критики, ее эстетической и философской готовности» [Викторович: 236].

Одновременно внимательно и объективно оценивается критическая позиция, например, А. С. Суворина, В. П. Буренина, В. Г. Авсеенко, которые у отечественных литературоведов были явно не в фаворе из-за их общественных взглядов. Комментатор также обращает внимание на эволюцию критической позиции рецензентов Достоевского, порой полемизирует с ними, оценивает их споры с писателем [Викторович: 256]. Он констатирует, что Достоевский-писатель не устраивал ни левую, ни правую партию в русской литературе, причем критики не столько пытались понять его как художника и мыслителя, сколько по его поводу высказывали свою позицию (например, В. Г. Авсеенко) [Викторович: 260]. По отношению к Достоевскому преобладала критика, которую можно назвать партийной (В. А. Викторович предлагает свой термин — «применительная критика»). В то же время во всех случаях уточняется литературная, эстетическая позиция критика, что особенно важно, когда речь идет о малоизученных авторах. К таким относится, например, сотрудник выходившей на французском языке газеты «Journal de St.-Petersburg» М. А. Загуляев, интересные работы которого автор-составитель книги по существу впервые вводит в научный оборот. В отличие от большинства рецензентов, например, романа «Бесы», этот критик положительно оценил художественное мастерство писателя, признал, что роман труден для восприятия, но глубок в осмыслении человеческого характера [Викторович: 263–264].

В книге постоянно присутствует защита Достоевского от несправедливых критических суждений и стремление понять писателя — и все это на

фоне литературной мысли того времени. Оценка литературной критики становится поводом и основой для выявления места Достоевского в общественной и литературной жизни. Даже известный портрет писателя работы В. Г. Перова оказался в контексте литературно-критической полемики. обстоятельно прослеживается идейная оппозиция Ф. М. Достоевский — Н. К. Михайловский, без упрощения их взглядов, уважительно к обеим сторонам. По мнению В. А. Викторovichа, Михайловский предугадал концепцию «идеологического романа» Достоевского, его героев-идеологов. Критики все больше погружаются в глубину мысли писателя, и опять возникает в качестве примера фамилия М. А. Загуляева, который в восприятии романа «Подросток» оказался оппонентом В. Г. Авсеенко.

Комментатор посредством анализа критических суждений о Достоевском как будто прочитывает его творчество с собственными комментариями. Критериями оценки позиции критиков о писателе становится глубина понимания его творчества, и в этом Викторovich видит главную проблему рецепции, поскольку русский читатель оказался неспособен понять и принять новую поэтику Достоевского и его жизненную философию, воплощенную в художественных текстах. Книга о критиках Достоевского интересна не только в информационном смысле. Она отличается своей поэтикой, своеобразным сюжетом, который определяется движением литературно-критической мысли применительно к творчеству великого писателя, диалогом идей. Подробное знакомство со всем разнообразием критических суждений сродни специфическому углубленному прочтению самого художественного творчества.

Критики часто упрекали Достоевского в несоответствии глубоких философско-психологических проблем, присутствующих в его произведениях, и небрежности художественного стиля. А. М. Скабичевский даже писал о раздвоенности писателя: фантастический колорит характеров и всего содержания его творчества — и глубокий общечеловеческий его смысл [Викторovich: 304–305]. Радикальные критики обращали внимание на увлечение писателя болезненными проявлениями психики как на факт искажения действительности [Викторovich: 307], но признавали, что его творчество не оставляет читателя равнодушным. Проблема критической оценки оказывается частью большой, актуальной и для современного литературоведения проблемы читателя; комментатор констатирует «разрыв между читателем и автором» [Викторovich: 313] в процессе восприятия произведений Достоевского.

На примере суждений Вс. С. Соловьева о романе «Подросток» В. А. Викторovich пришел к выводу, что критику понять и признать оригинальность литературной позиции писателя помешали его эстетические пристрастия: он видит в романах Достоевского лишь «богатейший материал для настоящего романа» [Викторovich: 323]. И в этом Вс. С. Соловьев не одинок. Подобные оценки критиков вызвали своеобразную «антикритику» со стороны писателя, которая оказалась необходимой для его «самоопределения». Достоевский упрекает критиков в «умственной несложности», мешавшей понимать его «эстетическую природу» [Викторovich: 235].

Непросто воспринимался критикой и «Дневник писателя» Достоевского с его своеобразной поэтикой и идеологией. Многие не понимали, что тяжелое впечатление читателей от его произведений было вызвано своеобразием гуманизма, писателя даже обвиняли в измене идеалам молодости. Так, А. М. Скабичевский, сочувственно упомянув о демократических симпатиях Достоевского, в то же время упрекнул его за «клерикальный взгляд на вещи» [Викторovich: 352]. Сотрудник «Одесского вестника» С. И. Сычевский писал об «ультра-славянофильстве» Достоевского [Викторovich: 353]. У него же появляется противопоставление Достоевского — художника и мыслителя [Викторovich: 354].

Постепенно в журнальной критике проявляется тенденция осознания особенностей художественного таланта Достоевского. Одним из первых об этом заговорил, как отмечает В. А. Викторovich, В. П. Буренин, подчеркнувший «экстраординарность» «художественного зрения» писателя, который «порой завлекает за пределы искусства [Викторovich: 361]. Расхождение Достоевского, автора «Дневника писателя», с большинством критиков Викторovich мотивирует тем, что у писателя был более широкий историософский и цивилизационный подход (в известной мере близкий Н. Я. Данилевскому), а не сиюминутные политические интересы [Викторovich: 365].

Поляризация критических отзывов обострилась с появлением «Братьев Карамазовых». Интересно прослеживается в монографии оппозиция В. П. Буренин — А. М. Скабичевский. Попутно атрибутируется статья о Достоевском сотрудника газеты «Голос» Г. А. Лароша [Викторovich: 382]. Констатируется, что даже противники писателя стали признавать, что его, как море, нельзя вычерпать [Викторovich: 385], поэтому критика бессильна уяснить всю противоречивость его творче-

ства. Глубже других роман «Братья Карамазовы» оценили В. П. Буренин и М. А. Загуляев.

В 1879 г. появляются работы о Ф. М. Достоевском обобщающего характера (П. Н. Полевого и Е. Л. Маркова). Исследователи пытаются оценить его творчество с точки зрения современного читателя, связывая его с настроениями эпохи («духовная болезнь», хандра, неверие). Так, Марков обнаруживает скептическое отношение писателя к человеку [Викторович: 403]. Характеризуя критические оценки творчества Достоевского, В. А. Викторovich попутно формулирует собственное понимание писателя, не судит его, а старается понять. Делается вывод о разных уровнях смысла его произведений, соответствующих сложному миросозерцанию автора и определяющих противоречивое читательское восприятие. В целом же в монографии фактически вскрывается драма непонятого современниками писателя.

Интересно и ценно вовлечение в исследовательский оборот материалов из церковной периодики. Много о понимании духовно-нравственных идей Достоевского писали С. Д. Левитский, И. Н. Павлов, А. М. Бухарёв, протопресвитер И. Л. Янышев и др. Эти критики отмечали увлечение писателя патологией общества и личности. И. Н. Павлов утверждал, что содержание творчества Достоевского «между фантазией и действительностью» [Викторович: 420], а характеры его героев — между аллегорией и душевной правдой [Викторович: 421]. Имели место попытки воспринимать Достоевского как исключительно духовного писателя.

Отдельный раздел монографии посвящен рецепции современниками Пушкинской речи Достоевского с дифференциацией источников информации и их характеристикой. Достаточно глубокой оказывается оценка Речи сотрудником французской газеты в Петербурге Загуляевым [Викторович: 431]. Вообще же разброс оценок Пушкинской речи очень велик — от утверждения, что это «акт национального самосознания» до понимания ее как «фальши русского самолюбия» [Викторович: 433]. Речь способствовала самоидентификации литературных позиций ее слушателей и читателей.

По-настоящему глубину мысли Достоевского, констатирует В. А. Викторovich, почти никто не понял. Пожалуй, только И. С. Аксаков высказался с одобрением о позиции автора: по его убеждению, утверждаемая писателем христианская идея братства выше всякой социальной идеи [Викторович: 454].

Широкий спектр оценок творчества Достоевского массово хлынул после его смерти. Писателя определяли и как пророка, и как утописта [Викторович: 457], приписывали ему мессианизм [Викторович: 459] и мистицизм [Викторович: 461]. Большое внимание комментатор уделяет характеристике позиции Н. К. Михайловского, автора известной формулы «жестокий талант». В. А. Викторович определяет позицию Михайловского как навязывание Достоевскому «тоталитарной эстетики» — это одна из крайностей социально-публицистической критики, когда игнорируется эстетическая природа художественного произведения и границы между автором и героем. Комментатор объясняет позицию критика как «страх... рационалиста перед иррациональной природой человека» [Викторович: 468]. Анализ критического метода Михайловского, сравнение оппозиции духовно-нравственных идеалов Достоевского и социально-экономических Михайловского, а также П. Н. Ткачёва — пример того, что комментатор не ограничивается констатацией той или иной позиции критика, а стремится объяснить, охарактеризовать ее. Он как будто проводит чужие мысли сквозь собственное сознание, обогащается ими и делает собственные выводы. Пример — интересный анализ критической и некрологической статей о Достоевском, принадлежавших редактору журнала «Мысль» Л. Е. Оболенскому (1881, № 2). Кстати, в подстрочных сносках к этим статьям на стр. 486 и 487 монографии присутствуют явные опечатки: разным статьям этого автора предпосланы одни и те же страницы (стр. 228–229). Но это, конечно, мелочь, в целом же в книге множество глубоких наблюдений комментаторов, их невозможно перечислить в рамках рецензии и остается рекомендовать исследование к вдумчивому чтению не только специалистами, но и всем, кому небезразлично творчество Ф. М. Достоевского.

Автор-комментатор ставит вопрос о формировании Достоевским «нового читателя», за пределами «эстетического канона», или, по Бахтину, «контекста понимания» [Викторович: 499]. Сложность восприятия творчества Достоевского читателями и критикой объясняется тем, что писатель утверждал новое «художественное построение» романа, уходя от «моноромана» [Викторович: 500]; творческое сознание писателя порождает и творческого читателя, следующего за писателем. Одним из первых «творческих читателей» Достоевского, как справедливо подчеркивает В. А. Викторович, был В. Н. Майков, еще в первых произведениях писателя заметивший художественное новаторство [Викторович: 501–502].

В целом монография В. А. Викторovichа и О. В. Захаровой направлена и на углубленное понимание (через посредство анализа критических оценок) самого творчества писателя, и на основательное осмысление русской литературной критики в ее движении и развитии. Комментаторы критических суждений не стремятся подвести своих читателей к какому-то единому решению художественной позиции Достоевского, делается интересный вывод, что он писал и для своих, и для чужих [Викторovich: 504], почувствовав разрыв человеческого «сознания в самоутверждающейся постхристианской цивилизации» [Викторovich: 505]. И еще к одной важной проблеме подводят исследователи: необходима история читателя Достоевского в самом широком плане.

Как ни высока наша оценка рецензируемой монографии, всегда найдется, к сожалению, некая «капля дегтя» в самом, казалось бы, успешном сочинении. В книге могло быть уделено больше внимания литературно-критическому наследию писателя в полемическом плане. Это придало бы дополнительную «подсветку» пониманию проблемы «Ф. М. Достоевский и его современники».

Что касается самого содержания книги, то по отношению к нему возможен, пожалуй, единственный упрек: увлечение цитированием чужих текстов, иногда чрезмерным (до страницы и более убористого текста). Понятно желание комментаторов быть максимально объективными в своих суждениях, но все же при цитировании не всегда соблюдаются правила современной орфографии и допущены опечатки.

Но все это, так сказать, издержки техники. В целом же рецензируемая монография представляет собой серьезный вклад в отечественное литературоведение в целом, в достоевковедение в частности, а также в историю русской литературной критики, публицистики, журналистики.

Список литературы

Викторovich В. А., Захарова О. В. Ф. М. Достоевский в русской критике. 1845–1881. Коломна: ИД «Лига». 2021. 536 с.

References

Viktorovich, V. A., and O. V. Zakharova. *F. M. Dostoevskii v russkoi kritike. 1845–1881* [*F. M. Dostoevsky in Russian Criticism. 1845–1881*]. Kolomna, Liga Publ., 2021. 536 p. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-142-153>
<https://elibrary.ru/SHDBIT>
Научный отчет
УДК 821.161.1.09"19"

© 2023. С. А. Стерликова

Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук
г. Москва, Россия

Итоги XVIII Весенних Толстовских чтений

Аннотация: В статье подводятся итоги и осмысляются самые важные и значимые доклады XVIII Весенних Толстовских чтений, прошедших 23 мая 2023 г. в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН. Отмечается неослабевающее внимание современных ученых к наследию писателя-классика, к его противоречиям, сложностям и до сих пор не разгаданным тайнам толстовских художественных миров. Приводится общий состав участников чтений, а также слушателей, акцентируется внимание на различных научных проблемах, которые были озвучены докладчиками, подчеркивается академический характер прошедших Толстовских чтений, глубина и значимость многих выступлений, скрупулезная работа исследователей по изучению различных источников: художественных текстов, их редакций и вариантов, публицистики, писем, дневников, заметок Толстого.

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, Л. Д. Громова-Опульская, Толстовские чтения, окружение Толстого, нравственный поиск, русская классика, литературный процесс.

Информация об авторе: Софьянина Анатольевна Стерликова, научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25 а, 121069 г. Москва, Россия.

E-mail: nabortk@yandex.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 25.05.2023

Дата одобрения статьи рецензентами: 30.05.2023

Дата публикации статьи: 25.06.2023

Для цитирования: Стерликова С. А. Итоги XVIII Весенних Толстовских чтений // Два века русской классики. 2023. Т. 5, № 2. С. 142–153.
<https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-142-153>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 142–153. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 142–153. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2023. Sofianina A. Sterlikova

A. M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences Moscow, Russia

Results of the XVIII Spring Tolstoy Readings

Abstract: The article summarizes and comprehends the most important and significant reports of the XVIII Spring Tolstoy Readings, which took place on May 23, 2023 at A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences. The unrelenting attention of modern scientists to Tolstoy's heritage, to its contradictions, complexities and still unsolved mysteries of his artistic worlds is remarkable. The article gives the general composition of the participants in the readings, as well as the audience, and emphasizes the attention which is focused on various scientific problems that were voiced by the speakers, the academic nature of the past Tolstoy readings, the depth and significance of many speeches, the scrupulous work of researchers in studying various sources, such as literary texts, their editions and variants, journalism, letters, diaries and notes of Tolstoy.

Keywords: L. N. Tolstoy, L. D. Gromova-Opulskaya, Tolstoy readings, Tolstoy's entourage, moral search, Russian classics, literary process.

Information about the author: Sofianina A. Sterlikova, Researcher, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25 a, 121069 Moscow, Russia.

E-mail: nabortk@yandex.ru

Received: May 25, 2023

Approved after reviewing: May 30, 2023

Published: June 25, 2023

For citation: Sterlikova, S. A. "Results of the XVIII Spring Tolstoy Readings." *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 142–153. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-142-153>

23 мая 2023 г. в Институте мировой литературы Российской академии наук состоялись давно ставшие традиционными XVIII Весенние Толстовские чтения.

Впервые проведенные в 2006 г. Чтения были посвящены памяти Лидии Дмитриевны Громовой-Опульской — выдающегося толстоведа, руководителя Отдела русской классической литературы ИМЛИ РАН и научной группы по изучению творчества Толстого, главного редактора Полного собрания сочинений Толстого в ста томах.

Нынешние Чтения ярко продемонстрировали неослабное внимание современных ученых к наследию писателя-классика. Следует отметить и высокий научный уровень конференции, в которой основная часть докладчиков — доктора наук. В работе Чтений приняли участие исследователи из Абхазии, Аргентины, Израиля, Китая, Турции. Кроме Института мировой литературы, были представлены такие академические институты, как Институт востоковедения РАН, Институт этнографии и антропологии РАН, Институт гуманитарных исследований Академии наук Абхазии. К конференции, проходившей дистанционно, подключились Государственный музей Толстого и музей-усадьба «Ясная Поляна», города Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Кострома, Иваново, Тула, Тверь.

Открыл Чтения Юрий Владимирович Лебедев, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки России, автор учебников для вузов и школ, для бакалавриата теологии по Истории русской литературы XIX в. Тема представленного доклада «Толстой-моралист и Толстой-художник» определила вектор всей конференции. Обратившись к религиозно-философским трактатам позднего Толстого, Ю. В. Лебедев поднял вопросы, отвечать на которые толстоведение XX в. стыдливо избегало. Вступив на путь беспощадной полемики с официальной Церковью, Толстой отрицал божественное происхождение Иисуса Христа, сомневался в бессмертии человеческой

души, произвольно извлекал из четырех Евангелий лишь заповеди Спасителя, подвергая их весьма вольной трактовке. Однако впавший в ересь Толстой не переставал быть великим художником, способным к постоянному духовному росту и неожиданным переменам. Свое верование он не возводил в непреложный догмат, как это делали его многочисленные ученики. И когда он воспринимал мир глазами художника, влюбленного в жизнь, многие религиозные умствования отступали или подвергались невольному сомнению. Ю. В. Лебедев на многочисленных примерах показал, что в романе «Воскресение», например, Толстому хочется доказать, как в душе Нехлюдова, ощутившего в своей душе Бога, свершилось торжество духовных начал. Его усовершенствование не нуждается в благодатной поддержке и движется к оптимистическому финалу. Однако художественная реальность требует от автора жизненной правды. И Толстой изменить этой правде не может. Религиозная доктрина писателя не получает органического воплощения в художественном мире романа, обнаруживая свою ограниченность и нежизнеспособность.

Вопрос: «Мог ли Л. Н. Толстой принадлежать к художественным деятелям Серебряного века?» — вынесен в заглавие доклада Олега Викторовича Кириченко, доктора исторических наук, главного научного сотрудника Отдела русского народа Института этнографии и антропологии РАН. В ходе выступления было убедительно показано, что Серебряный век не вытекал из Золотого, вследствие текучести и времени, и неумолимого закона деградации культуры, он решал возрожденческие общеевропейские и российские, русские задачи; поэтому его формировали, за него боролись. И таких проектов было три. Во-первых, Ф. М. Достоевского, с его возвращением к образу евангельского, земного Христа, времени кануна Второго Пришествия, где уже осязаемо присутствует его враг Антихрист. Во-вторых, Л. Н. Толстого, ставившего задачу кардинально изменить человеческую цивилизацию, убрав из нее государство, Церковь, собственность и прочие «ненужные вещи». Себя писатель видел одним из пророков, ведущих человечество к свободе «жизни», к жизни «доброй и разумной». Но лишь третий проект — В. С. Соловьева — лег в основу методологии творцов Серебряного века. Опираясь на переработанную им западную софианскую идейность, он предлагал русским художникам вернуться к западно-европейской традиции на новых принципах; не рационалистических,

просвещенских, интересных людям бизнеса, а на философско-мистических, имеющих несколько иную европейскую историю, чем европейский рационализм. О. В. Кириченко пришел к выводу, что Толстой был в числе тех, кто своим творчеством, философской системой и художественными открытиями способствовал подготовке Серебряного века.

Елена Викторовна Белоусова, научный сотрудник Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» в своем докладе представила мать писателя — Марию Николаевну Толстую — как духовную писательницу. Эта новая страница в изучении окружения Толстого основана на результатах архивных изысканий, проведенных в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки, где хранится большая часть архива М. Н. Толстой [Белоусова]. Предметом исследовательского внимания Е. В. Белоусовой стали переводы с французского на русский язык литературы духовного содержания, предпринятые М. Н. Толстой. Более подробно был рассмотрен сюжет, связанный с переводом имевшейся в библиотеке отца и дочери Волконских книги на французском языке «*Le combat spirituel*» пастора Жана Бриньона — перевода итальянского трактата «*Il combattimento spirituale*» Лоренцо Скупóли. В 1810–1820-е гг. М. Н. Волконская перевела «*Le combat spirituel*» и озаглавила свою рукопись «Духовное сражение». Это пятнадцать тетрадей — 196 листов текста на обеих сторонах. Спустя почти 70 лет после перевода Волконской оригинал Л. Скупóли приобрел широкую известность в православном мире благодаря свт. Феофану Затворнику: в 1888 г. вышла «Невидимая брань» — его перевод греческого варианта «Брани духовной». Также в докладе были охарактеризованы такие значительные труды М. Н. Толстой в жанре духовной литературы, как перевод книги Лепренс де Бомон «*Magasin des pauvres, artisans, domestiques et gens de campagne*» и «Наставление о законе христианском, выбранное из “Магазейна бедных”», оформленное в виде 392 вопросов и ответов с катехизическими объяснениями Символа веры, толкований Закона Божия, Заповедей блаженства и молитвы «Отче наш».

Доклад Марины Ивановны Щербаковой, доктора филологических наук, профессора, заведующей научно-исследовательским центром ИМЛИ РАН «Русская литература и христианская традиция», был посвящен Севастопольским рассказам Толстого как главному художественному шедевру о Крымской войне 1853–1856 гг. Анализ художественных открытий писателя в его севастопольской трилогии Щер-

бакова провела, обратившись к документам и мемуарным источникам, авторами которых были М. И. Богданович, Э. И. Тотлебен, Х. Я. Гюббенет, Ф. К. Затлер, Н. И. Пирогов, Н. В. Берг, О.И. Константинов. Запечатленные в них события Крымской войны представлены реальными фактами и статистикой. Ничего подобного нельзя найти в Севастопольских рассказах Толстого: сила воздействия на читателя картин осажденного Севастополя, штурма Малахова кургана, ратных подвигов русских воинов на бастионах — в художественных приемах Толстого, в передаче тончайших психологических состояний героев и глубинных сакральных смыслах происходившего. При этом автор нисколько не отступил от исторической правды, свидетелем которой он был как защитник Севастополя. Сделан вывод о том, что историческому масштабу военных событий в Крыму соответствует художественный масштаб созданных Толстым Севастопольских рассказов, запечатлевших в русской национальной памяти победу и несокрушимость народного духа.

Автор доклада «Илья Обломов и Пьер Безухов» доктор филологических наук Нина Леонидовна Ермолаева обратила внимание на восторженное приятие Л. Н. Толстым романа И. А. Гончарова «Обломов» в 1859 г. и появление в его эпопее «Война и мир» героя, Пьера Безухова, отмеченного очевидным сходством с Обломовым. Анализируя текст романов, докладчица прослеживает это сходство во внешности, внутреннем облике героев, доказывает использование Толстым ряда характерных для Гончарова способов их изображения, в частности, архетипических образов солнца, камня, дивана, халата. Принадлежность Ильи Обломова и Пьера Безухова к сформировавшемуся в середине XIX в. в русской литературе типу «тюфяка», по мнению докладчицы, не отменяет возможности вопроса о влиянии гончаровского романа на эпопею Толстого.

Ирина Борисовна Павлова, доктор филологических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН посвятила свой доклад роли мотива *небо* в развитии сюжетной линии Константина Левина в романе Толстого «Анна Каренина». Было убедительно показано, что образ-символ неба сопутствует всем любимым героям Толстого. Левин в своих поисках Истины обращен и ко Вселенной, и к земной реальности, он ищет ответы на важнейшие вопросы бытия, ориентируясь на вечное, прекрасное небо. Павловой была отмечена значимость анализа мель-

чайших элементов художественного мира, обусловленных вниманием героя, «с образом и дорогой которого писатель связывает определенные надежды», за становлением и работой которого внимательно следит читатель [Андреева: 15]. Более пристально в докладе рассматривались страницы романа «Анна Каренина», посвященные обращению героя к Вселенной и связанные с его стремлением обрести желанные любовь, счастье, гармонию личных отношений, с интуитивным ощущением неразрывной связи земного и небесного. И сцена весенней охоты в лесу на закате, и перламутровое облако-раковина, и крест церкви на фоне зимнего ночного неба, звезд, созвездия Возничего с яркой Капеллой — все эти и многие другие эпизоды романа подтверждают органическую близость героя с Космосом, сопричастность стихиям Земли и Неба. «Изъятый из условий материальной жизни» Левин ощущает таинственное соприкосновение души с горним миром. Этот вывод подтверждается финальными страницами романа: Левин приходит к выводу, что несомненным проявлением Божества являются законы добра, доступные каждому человеческому сердцу и объединяющие всех людей.

В основу доклада Александра Вадимовича Гулина, доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника ИМЛИ РАН «Эксперимент с лошастью (Повесть “Холстомер” и формирование поэтики позднего Толстого)» легло комплексное изучение рукописного фонда повести Л. Н. Толстого «Холстомер». Задуманная и написанная вчерне на рубеже 1850–1860-х гг., повесть была закончена после огромного перерыва только в 1885 г. и знаменовала собой (после создания первых религиозно-философских трактатов и «учительных» произведений «в народном духе») «воссоединение» писателя с его ранним и зрелым художественным творчеством. В то же время, «история лошади» стала настоящим экспериментальным полем для формирования поэтики и проблематики позднего Толстого-художника. На примере многочисленных случаев авторской правки в докладе было раскрыто исключительное по широте и «разбросу» творческих импульсов, идей, поэтических приемов, биографических и социально-исторических воздействий движение толстовского замысла. Показано, как на разных этапах работы — от временной «пробуксовки» до свободного полета воображения, в «Холстомере» возникает внутренне контрастное единство реалистического и фантастического, объективного и гротескного, психологического и публицистического.

Валерия Геннадьевна Андреева, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН в докладе «Сделать так, чтоб письма из Тульской губернии были для нас, русских, интереснее писем из Лондона или Нью-Йорка». О личном и творческом взаимодействии Л. Н. Толстого и И. С. Аксакова» обратилась к анализу переписки Толстого и Аксакова, точнее, трех писем Аксакова. В. Г. Андреева предложила вниманию участников конференции подробный научный комментарий к письмам, дала объяснение упомянутым в них реалиям и фактам, что позволило глубоко осмыслить идейные позиции и взгляды корреспондентов. В. Г. Андреева отметила, что в письмах Аксакова к Толстому прекрасно проявляется его личная и гражданская позиция, представления о лучших путях развития России, что письма Аксакова имеют большое значение в исследовании его целенаправленного влияния на Толстого, попыток сделать последнего адептом славянофильства. Также были отмечены общие моменты и переклички в судьбах Аксакова и Толстого, серьезное влияние на обоих литераторов Крымской войны. В. Г. Андреева показала, что при всей кажущейся эпизодичности три письма Аксакова к Толстому в полной мере отражают эволюцию взглядов писателя и редактора — увлечение публицистикой и актуальными общественными проблемами сменялось и для Толстого, и для Аксакова осознанием непреходящей ценности художественной литературы. Изложенный материал позволил сделать важный вывод о внимательном отношении Аксакова к творчеству, жизни и общественной деятельности Толстого, о той высокой оценке художественного творчества писателя, которую неизменно высказывал Аксаков.

В докладе доктора филологических наук Николаевой Светланы Юрьевны рассматривалась проблема сюжетобразующей, композиционной роли ключевых метафор-символов в творчестве позднего Толстого — автора «Воскресения». Эти развернутые метафоры-символы («закрытые двери», «люди как реки») имеют всеобъемлющий смысл по отношению к художественному целому романа, определяют собой его структуру. С. Ю. Николаева обратилась к глубинному подтексту, к архитектонике весеннего пейзажа в зачине романа, сделала вывод о том, что обобщающая сила и выразительность толстовского зачина обусловлена не просто талантом автора, но и «большой памятью», опорой на древнерусскую литературную традицию, в частности на поэтику весеннего пейзажа из «Слова на антипасху» Кирилла Туровского. Пейзаж

в древнерусской литературе не был пейзажем в современном значении этого слова, а представлял собой развернутую метафорическую картину, создатель которой преследовал нравоучительную, дидактическую цель. Именно такой — условный, символический — пейзаж и оказался близок Толстому, который, приступая к работе над «Воскресением», стремился понять и схватить сущность текущего исторического момента. Фактически толстовский зачин стал способом реализации «свернутой», почти стершейся от обыденного словоупотребления метафоры — «воскресение».

Научный руководитель музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», кандидат филологических наук Галина Васильевна Алексеева представила доклад ««Единобрачие и многобрачие» Б. Бьёрнсона и «Крейцера соната» Л. Н. Толстого: публицистика как ключ к прочтению художественного текста» и показала, что повесть «Крейцера соната» с последующим «Послесловием» и статья «Единобрачие и многобрачие» представляют собой непреднамеренный диалог двух авторов, происходивший примерно в одно и то же время в разных странах, по одному из важнейших, с точки зрения писателей, вопросов современности. Г. В. Алексеева отметила, что Толстой проявил к брошюре Бьёрнсона очевидный интерес, поскольку на страницах сохранившегося в яснополянской библиотеке экземпляра выявлены толстовские маргиналии. Тема «Толстой и Бьёрнсон» имеет большой потенциал для исследований. Писателей сравнивали еще при жизни. Через 113 лет после их смерти параллели и контрпараллели становятся еще рельефнее и очевиднее. Оба одновременно консервативны и радикальны, патриотичны и космополитичны, прогрессивны и реакционны, религиозны и антицерковны. Как и у Бьёрнсона, у Толстого слово «правда» — одно из любимых. Г. В. Алексеева подчеркнула, что Толстой по всему миру искал и поддерживал примеры «практического христианства», стремления к «царству Божию» внутри себя, а Бьёрнсон — примеры движения за национальную независимость.

Галина Николаевна Ковалева, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН в докладе ««Это лицо узел всего» (К истории создания незавершенного романа Л. Н. Толстого о князе В. Н. Горчакове «Труждающиеся и обремененные»)» обратилась к истории текста произведения и его творческой истории, реконструированной по плану-конспекту, черновым наброскам и пяти сохранившимся художественным фрагмен-

там, или «началам» романа. Рукописный фонд незавершенного романа составляют 23 листа, однако авторские зачеркивания, вымарывания, поправки, вписанные добавления к тексту дают представление о развитии замысла и его трудном воплощении. Толстой задумал исторический роман о своем двоюродном деде, князе В. Н. Горчакове, родном брате бабушки Толстого по отцовской линии. Выбор князя Горчакова в качестве главного героя будущего романа Ковалева объяснила интересом Толстого к его личности и необычной, полной драматизма судьбе. Между тем, как было показано в докладе, Толстому пришлось провести подлинное расследование, чтобы прояснить подробности жизни Горчакова. Сделав успешную служебную карьеру, Горчаков, по свидетельству Д. П. Рунича, «находился в величайшей милости у императора» Павла I, в эпоху правления Александра I был судим за подделку векселей, лишен чинов и званий и сослан в Сибирь. Подводя итог, Ковалева пришла к выводу о том, что безошибочное художественное чутье Толстого подсказало ему выбор героя, вокруг которого смог бы завязаться узел интересного повествования.

Заведующий научно-методической службой Государственного музея Л. Н. Толстого, кандидат исторических наук Юрий Владимирович Прокопчук выступил с докладом на тему: «Л. Н. Толстой в поисках универсального смысла духовной жизни: о разумении и сознании». Анализ метафизических воззрений Толстого был сосредоточен на ключевых понятиях религиозной философии Толстого — его представлении о разумении и сознании. Исследователь рассмотрел особенности изучения мировоззрения писателя и основ его метафизики, проследил с опорой на множество примеров, эволюцию Толстого-мыслителя, его восприятие разумного начала, попытки осознания истинной сущности мира и человека. В докладе был специально рассмотрен вопрос о влиянии на Толстого произведений И. Канта, его трактовок разума и его понимания религии, проанализированы особенности толстовского восприятия евангельского текста, начала Евангелия от Иоанна. Также прослежены важнейшие этапы эволюция мысли писателя: первоначальный интерес в молодые годы к разумному осмыслению действительности; затем критика разума и разумного познания в 1860–1870-е гг.; особое восприятие разума, разумения жизни, возникшее в годы духовного перелома; трактовка сознания в последние годы жизни Толстого.

В докладе доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника ИМЛИ РАН Ольги Анатольевны Казниной с разных сторон были рассмотрены темы и мотивы книги И. А. Бунина «Освобождение Толстого» (1937). Исследователь представила краткий очерк истории создания книги, анализ ее жанровой структуры, показала, каким образом различные жанровые элементы: литературный портрет, философско-поэтическое созерцание, дневник, письмо — образуют художественное единство. В русском зарубежье Л. Н. Толстому уделялось не меньше внимания, чем Ф. М. Достоевскому и А. С. Пушкину: в сознании культурной эмиграции эти три фигуры были символами той России, которую изгнанники, как им хотелось верить, унесли с собой на чужбину. Вклад зарубежья в изучение толстовского наследия составляет обширную библиотеку. Книга Бунина, помимо своей художественной уникальности как мемуарного портрета Толстого, вторгается в сферу религиозно-философской мысли: ее главным мотивом является стремление раскрыть духовные и религиозные искания позднего Толстого, сущность его духовных кризисов, эволюцию его мировоззрения. В центре внимания Бунина — идея «освобождения» Толстого, загадка его последнего ухода из Ясной Поляны. Бунинская интерпретация «освобождения» была представлена в докладе на фоне философских, богословских и историко-литературных оценок мировоззрения Толстого современниками и представителями русской культурной эмиграции.

В процессе прохождения конференции, помимо вопросов к выступающим, участники и слушатели делились мнениями и рассуждениями по поводу поднимаемых проблем. После выступления всех докладчиков состоялась свободная дискуссия, были подведены итоги. Был отмечен академический характер прошедших Толстовских чтений, глубина и значимость многих выступлений, скрупулезная работа исследователей по изучению различных источников: художественных текстов, их редакций и вариантов, публицистики, писем, дневников, заметок Толстого.

Список литературы
Исследования

Андреева В. Г. Человек и проблема антропоцентризма в русском романе второй половины XIX века // Верхневолжский филологический вестник. 2018. № 4. С. 13–21. <https://doi.org/10.24411/2499-9679-2018-10191>

Белоусова Е. В. М. Н. Толстая — мать двух писателей Н. Н. и Л. Н. Толстых. Ее духовные идеалы и педагогические принципы // Литература и история. XIX век. М.: Мос. гос. обл. ун-т. 2016. С. 40–95.

Щербакова М. И. Севастопольские рассказы Л. Н. Толстого: духовные смыслы Крымской войны // *Studia Litterarum*. 2022. Т. 7, № 2. С. 162–173. <https://doi.org/10.22455/2500-4247-2022-7-2-162-173>

References

Andreeva, V. G. “Chelovek i problema antropotsentrizma v russkom romane второй poloviny XIX veka” [“Man and the Problem of Anthropocentrism in the Russian Novel of the Second Half of the 19th Century”]. *Verkhnevolzhskii filologicheskii vestnik*, no. 4, 2018, pp. 13–21. <https://doi.org/10.24411/2499-9679-2018-10191> (In Russ.)

Belousova, E. V. “M. N. Tolstaia — mat’ dvukh pisatelei N. N. i L. N. Tolstykh. Ee dukhovnye idealy i pedagogicheskie printsipy” [“M. N. Tolstaya as the Mother of Two Writers N. N. and L. N. Tolstykh. Her Spiritual Ideals and Pedagogical Principles”]. *Literatura i istoriia. XIX vek* [*Literature and History. 19th Century*]. Moscow, Moscow State Regional University Publ., 2016, pp. 40–95. (In Russ.)

Shcherbakova, M. I. “Sevastopol’skie Rasskazy L. N. Tolstogo: dukhovnye smysly Krymskoi voiny” [“Leo Tolstoy’s Sevastopol Stories: Spiritual Meanings of the Crimean War”]. *Studia Litterarum*, vol. 7, no. 2, 2022, pp. 162–173. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2500-4247-2022-7-2-162-173> (In Russ.)



**Материалы круглого стола
памяти Петра Васильевича Палиевского
(К 90-летию со дня рождения)**

17 мая 2022 г. состоялся Круглый стол памяти доктора филологических наук, главного научного сотрудника ИМЛИ Петра Васильевича Палиевского (1932–2019), посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося русского литературоведа, мыслителя и публициста. Организатором Круглого стола выступил Научно-исследовательский центр «Русская литература и христианская традиция» Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН.

Доктор филологических наук, в разные годы заместитель директора ИМЛИ РАН по науке, главный научный сотрудник Отделов теории литературы и русской классической литературы, Петр Васильевич Па-

лиевский работал в Институте более 60 лет. Его блестящее научное дарование, его превосходный организаторский талант оставили неизгладимый след в академической филологии, получили признание в России и за рубежом. Самобытная личность, богатые труды П. В. Палиевского на протяжении десятилетий оставались одним из важнейших духовных центров жизни ИМЛИ. Обладая ярким талантом публициста и литературного критика, Петр Васильевич также получил широкую известность как неравнодушный к судьбе России участник полемики о прошлом и будущем страны, как продолжатель и хранитель традиционных ценностей и смыслов национальной жизни.

На круглом столе с воспоминаниями и размышлениями о личности и трудах своего коллеги выступили сотрудники ИМЛИ — литературоведы нескольких поколений: В. М. Гуминский, А. И. Чагин, А. Л. Налепин, Н. Н. Примочкина, А. В. Гулин, И. А. Виноградов, И. Б. Павлова, М. А. Айвазян, Г. Н. Ковалева. О своих встречах с Палиевским и восприятии его трудов рассказал заведующий кафедрой Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины (Белоруссия) И. Н. Афанасьев. Вдова ученого Е. Е. Палиевская представила собранными редкие биографические документы, свидетельства российско-го и международного признания деятельности Петра Васильевича.

Каждый из выступавших сохранил незабываемые и неповторимые воспоминания о Палиевском — историке и теоретике литературы, литературном критике. Личность нашего выдающегося современника предстала во всей уникальности его научных и человеческих дарований. Творчество Палиевского оценивалось многими участниками круглого стола как выдающийся вклад в русскую и мировую науку о литературе, в развитие эстетической и общественной мысли в СССР и России второй половины XX – начала XXI вв.

Спустя год мы публикуем избранные статьи, созданные на основе выступлений, прозвучавших во время Круглого стола.

© 2023. В. М. Гуминский
Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук
г. Москва, Россия

Из воспоминаний о П. В. Палиевском

Аннотация: Воспоминания автора о встречах с П. В. Палиевским служат в статье материалом для размышлений о своеобразии личности выдающегося российско-го ученого и его уникальном месте в научной и общественной жизни СССР (России) XX – начала XXI вв. В статье засвидетельствованы многочисленные эпизоды, связанные с работой на филологическом факультете МГУ рубежа 1960–1970-х гг. ставшего легендарным семинара Палиевского, отражены с точки зрения неравнодушного очевидца выступления ученого и мыслителя во время публичной дискуссии 1977 г. в Центральном доме литераторов и на Международном съезде славистов 2003 г. в Любляне (Словения). Автор отмечает, что научная мысль Палиевского и его своеобразная идеология опирались на русскую классическую литературу и историческую жизнь русского народа, прослеживает, как в условиях «слома времен» Палиевский неизменно выступал защитником многовековых национальных ценностей и смыслов.

Ключевые слова: П. В. Палиевский, А. С. Пушкин, филологический факультет, Московский государственный университет, Отдел теории литературы, аксиология, историческая жизнь, русский народ

Информация об авторе: Виктор Мирославович Гуминский, доктор филологических наук, главный научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25 а, 121069 г. Москва, Россия.

E-mail: gumins@rinet.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 18.03.2023

Дата одобрения статьи рецензентами: 26.04.2023

Дата публикации статьи: 25.06.2023

Для цитирования: Гуминский В. М. Из воспоминаний о П. В. Палиевском // Два века русской классики. 2023. Т. 5, № 2. С. 156–167.
<https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-156-167>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 156–167. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 156–167. ISSN 2686-7494

In Memoriam

© 2023. Viktor M. Guminskiy

A. M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences Moscow, Russia

From the Memoirs about P. V. Palievskiy

Abstract: The author's memoirs about meetings with P. V. Palievskiy serve in the article as a material for reflection on the originality of the personality of an outstanding Russian scholar and his unique place in the scientific and social life of the USSR (Russia) of the 20th – early 21st centuries. The article testifies to numerous episodes related to work at the Faculty of Philology of Moscow State University at the turn of the 1960s–1970s of the legendary seminar of Palievskiy and reflects from the point of view of a not indifferent eyewitness of the speeches of the scientist and thinker during the public discussion in 1977 in the Central House of Writers and at the International Congress of Slavists in 2003 in Ljubljana (Slovenia). The author notes that Palievskiy's thought and his peculiar ideology were based on Russian classical literature and the historical life of the Russian people, and traces how, in the conditions of the “break of times,” Palievskiy invariably acted as a defender of centuries-old national values and meanings.

Keywords: P. V. Palievskiy, A. S. Pushkin, Faculty of Philology, Moscow State University, Department of Literary Theory, axiology, historical life, Russian people.

Information about the author: Viktor M. Guminskiy, DSc in Philology, Director of Research, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25 a, 121069 Moscow, Russia.

E-mail: gumins@rinet.ru

Received: March 18, 2023

Approved after reviewing: April 26, 2023

Published: June 25, 2023

For citation: Guminskiy, V. M. “From the Memoirs about P. V. Palievskiy.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 156–167. (In Russ.)
<https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-156-167>

Эти воспоминания о Петре Васильевиче Палиевском мне хотелось бы предварить своего рода эпитафией, точнее, рассказом о сценке, свидетелем которой я невзначай стал в уже далеком прошлом.

Представьте себе некую площадку (точно я уже не помню): то ли Центральный дом литераторов, то ли какое-то другое место, где собирались писатели. И вдруг из этой человеческой круговерти выделилась группа представителей так называемого «национально-государственного» направления и ринулась к Петру Васильевичу, мирно с кем-то беседовавшему в отдалении. Кто-то из них довольно бесцеремонно, но с подкупающей искренностью спросил: «Петр Васильевич! Почему Вы так мало пишете?» Надо заметить, что среди вопрошавших присутствовали и достаточно известные в литературном мире персоны, авторы нескольких книжек, полагавшие именно такой критерий главным в своем деле. Петр Васильевич, ни на секунду не задумавшись и только блеснув глазами, ответил: «Зато я за вас думаю!». Вот, собственно, от этого я и хотел бы отталкиваться в своем повествовании.

Я познакомился с Петром Васильевичем, кажется, в 1970 г., когда пришел в его семинар «Серебряный век в русской литературе» (возможно, название неточное) на филологическом факультете МГУ. Популярность этого семинара (из-за новой для филфака проблематики, но и главное, конечно, из-за фигуры руководителя) была невероятной, и попасть туда было невозможно. Я оказался в семинаре, не скрою, «по благу». В то время я уже подвизался в Толстовском музее, а среди его сотрудников была благоволившая ко мне жена одного из тогдашних писательских начальников. Я осмелился просить о протекции, которая и была мне, судя по всему, оказана. Петр Васильевич принял меня в семинар.

К тому времени он был уже фигурой вполне легендарной (и не только в нашей среде). Известными были и тогдашние его друзья и коллеги: три других выпускника филфака МГУ, в конце 1950-х гг., кажется,

все вместе приглашенные на работу в Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР. Это Георгий (которого по непонятным причинам все звали Геней) Дмитриевич Гачев — его книга (1964) об ускоренном развитии литературы (на материале литературы Болгарии) стала своеобразным литературоведческим бестселлером, и почиталась прорывом в сферы, до той поры науке недоступные. Сергей Георгиевич Бочаров считался непревзойденным мастером конкретного литературоведческого анализа, а его книга о «Воине и мире» (неоднократно переиздававшаяся с 1963 г.) была признана в этом смысле образцовым трудом. Но, конечно, самым популярным был Вадим Валерьянович Кожин. Мне не так давно пришлось о нем писать (в соавторстве с теперь уже ушедшим от нас С. А. Небольсиным) в библиографический словарь «Русские литературоведы XX века» (2017), и я в очередной раз изумился многогранности его дарований. Теоретик и историк литературы, эстетик, критик, публицист, безудержный полемист, создатель и разрушитель литературных и научных репутаций, певец (под гитару) романсов и народных песен, обладатель неистового темперамента, которого не без оснований (по аналогии со славянофилом К. С. Аксаковым) называли передовым бойцом патриотического направления в литературе.

Однажды состоявшееся появление Кожина на семинаре Палиевского ознаменовалось дискуссионным взрывом. Кожин принес с собой малоизвестную, но ставшую впоследствии знаменитой фотографию Альберта Эйнштейна с высунутым языком. О чем только мы в связи с ней не спорили: о теории относительности и о Пуанкаре, об относительности и абсолюте и т. п. Сейчас уже не вспомнить, но каким-то образом в центре обсуждения оказались В. В. Розанов и М. М. Бахтин. Розанова (замечу в скобках — одного из любимых мыслителей Петра Васильевича) оставляю в стороне, речь о Бахтине. Именно в это время усилия Кожина, Бочарова и др. по возвращению ученого в официальную науку и к читателю увенчались первыми успехами: в 1963 г. была издана переработанная книга Бахтина о Достоевском, в 1965 г. — монография о Франсуа Рабле в престижном издательстве «Художественная литература». Увлеченно рассказывая о Бахтине, Кожин заявил, что уже трижды перечитал его Достоевского. Помню, что в горячке спора я в ответ дерзко заметил: «Наверное, стоило бы перечитать самого Достоевского». И, конечно, был не прав: Кожин в это время работал

над книгой о «Преступлении и наказании» (1971) и, разумеется, перечитывал классика не единожды.

Петр Васильевич приглашал на наши семинарские занятия и других замечательных современников. Мы тогда зачитывались «Плотницкими рассказами» (1968) Василия Ивановича Белова и гадали об авторе, представляя его в виде чуть ли не былинного богатыря. Петр Васильевич как-то предупредил, что Белов обещал прийти на семинар. Мы с нетерпением ждали. Каково же было удивление, когда на пороге огромной аудитории на первом этаже старого, величественного, казакско-жилярдиевского здания МГУ на Моховой (за памятником М. В. Ломоносову) появилась небольшая фигурка застенчивого человека в бородке, и, осмотревшись, крикнула, и воскликнула: «Вот теперь я понимаю, что такое храм науки!»

Как-то заглянул к нам на семинар и руководитель другого популярного на филфаке семинара — Владимир Николаевич Турбин. Заглянул и сразу же озадачил вопросом: «Кто ж вы такие будете: формалисты, структуралисты или кто-нибудь еще?»

Мы, конечно, были «кто-нибудь еще», причем очень разные, можно даже сказать, разнонаправленные по своим взглядам, литературным предпочтениям и т. п. Назову только несколько имен, ставших заметными в последующей литературной и научной жизни. Владимир Карлович Кантор, Александр Львович Осповат, Всеволод Иванович Сахаров, Евгения Викторовна Иванова (она, кажется, была старостой семинара), мой сокурсник, поэт, переводчик, библиофил Владимир Иванович Швыряев и, конечно, мой друг Сергей Андреевич Небольсин.

А что же сам Петр Васильевич?

Не могу сказать, чтобы он как-то активно вмешивался в наши споры, старался подавить авторитетом. Порой казалось, что этот стройный, голубоглазый, всегда аккуратный, но не броско одетый блондин является просто одним из семинаристов. Особенно когда он по-мальчишески простосердечно смеялся в ответ на какую-нибудь забавную выходку. Но Петр Васильевич одной иронической улыбкой мог умерить пафосный накал любого выступления. И особенно действенен был его неожиданный, быстрый и внимательный взгляд, адресованный кому-либо, чаще всего собеседнику. Этот умный взгляд запомнил, наверное, каждый, кто с ним встречался. Но это не было проявлением,

что называется, житейски-проницательного ума, словно взвешивающего человека (в людях Петр Васильевич мог ошибиться), или отвлеченного, абстрактно-надменного ума теоретика-интеллектуала, хотя интеллектуальный кругозор Петра Васильевича поражал, а от теоретических обобщений захватывало дух. Петр Васильевич «любопытствовал миру», как о нем сказали бы в старину. Его интересовало все и всё: люди, природа, политические, экономические, спортивные новости... Так, мне памятно его восхищение крымскими ландшафтами (во время поездок туда на конференции), в которых словно навечно отпечаталась древняя история полуострова. И, обозревая красочную панораму и рассуждая о роли Крыма в судьбе России, он неумоимо и легко преодолевал каменистые горные тропы, демонстрируя сноровку опытного «пешеходца». В отличие от меня, понуро плетущегося позади и умоляющего о передышке. Или взять футбол! После каждого международного турнира мы (Петр Васильевич, Сергей Андреевич Небольсин и я) нередко созванивались и обсуждали прошедшие матчи. Преимущественно с точки зрения представленных в командах характерных национальных типов. Помню, что мы сошлись в высокой оценке игры Луиша Фигу, необычной фигуры на европейских и мировых футбольных полях, человека с внешностью и повадками португальского крестьянина, пастуха, что проявлялось в самобытной технике и необычном ударе. Именно подобные наблюдения и давали разнообразную пищу уму Петра Васильевича.

Он был, прежде всего, мыслитель, и одно время считался даже кем-то вроде идеолога. Его идеология опиралась на русскую классическую литературу и историческую жизнь русского народа. Например, по ходу семинара как-то сразу и само собой стало понятно, что «серебряный век» не самоценен, не должен рассматриваться сам по себе, а только в сравнении с эпохой классической русской литературы.

Однажды Петр Васильевич продемонстрировал это, что называется, наглядно. На семинарское занятие он принес огромный рулон ватмана, развернул его с помощью кого-то из студентов, и мы оторопели в недоумении. На бумаге изображалось нечто из области, скорее, научно-технической, но не гуманитарной, как поначалу показалось, мысли: чертеж не чертеж, схема не схема, диаграмма не диаграмма. Длинные узкие (разной толщины — «вес» писателя) разноцветные (красный — революционность; голубой, синий — романтичность, «небесность»

и т. д.) линии-ленточки (каждая носила определенное имя) с кружочками на них (в каждом был проставлен номер, обозначающий то или иное «событие литературы»: список произведений прилагался) бежали и разбегались, уносились ввысь и клонились долу, образуя какие-то клубки, скопления и прочие хитросплетения. Эта фантазмагорическая картина была замкнута с двух сторон сетью координат: по левому краю вертикальной прямой, на которой обозначались этапы-уровни возвышения («национальные ценности» и т. д.), а внизу, пересекаясь с вертикалью, шла длинная горизонтальная «хронологическая» прямая линия с пояснениями («реформа», «революция» и др.) и названием «историческая действительность».

Впоследствии, когда сей плод размышлений Петра Васильевича под именем «Движение русской литературы XIX – начала XX века» был впервые предан журнальному тиснению («Литературная учеба», 1988, № 5), профессиональный художник-дизайнер, можно сказать, усугубил организованность изображения, убрав некоторую прихотливую неустойчивость, вертлявость «писательских» ленточек. Картина стала строже, геометричнее, но потеряла в вольной художественности «рисунка» (на этом термине настаивал сам Петр Васильевич). Мы же, семинаристы, сразу принялись обсуждать «справедливость» графически выставленных «оценок» русской литературе, исходя из собственных пристрастий.

В то время (да и не только тогда) было как-то не принято (считалось ненаучным) сравнивать между собой, скажем, «Войну и мир» и «Преступление и наказание» или, тем более, деятельность критика и мыслителя И. В. Киреевского с творчеством Н. В. Гоголя. А тут они сравнивались, причем критерий был одинаковым для всех: «национальные ценности», «художественные ценности мирового значения» и т. д., вплоть до «вечных ценностей». Место писателя на «аксиологической» вертикали вызывало и продолжает вызывать (у самых разных читателей, в том числе и у нескольких поколений теперь уже моих студентов) самые бурные споры. Но они не могут заслонить главного: всеохватывающего, панорамного взгляда, выявляющего общий смысл движения, взаимосвязанность целого, его генеральное направление, ориентацию. Разъяснению всего этого Петр Васильевич посвятил интервью, которое дал мне (тогда сотруднику «Литературной учебы») и которое сопровождало первую журнальную публикацию «Движе-

ния...» (были и последующие). Тут он привел и карамзинские слова, имеющие прямое отношение к упомянутым спорам: «Историк может ошибиться в распределении мест, но должен всему указать свое место». В интервью Петр Васильевич сослался и на графический прообраз своей «картины» — знаменитый рисунок Льва Толстого («возрождение в народности»), представляющий очерк развития русской литературы: линия, идущая вниз от Пушкина и потом сквозь «изучение народа» снова взлетающая вверх.

Пушкин на рисунке Петра Васильевича тоже вознесен на абсолютную высоту: его творческий путь изображался неуклонно поднимающейся вверх золотистой линией-лентой, венчавшейся условным изображением солнца, лучи которого освещали все полотно «движения русской литературы» в его прошлом и будущем. «Солнце русской поэзии» (В. Ф. Одоевский) занимало единственное подобающее ему место в космической сфере «вечных ценностей»: они действуют всегда, по определению Палиевского, на всем протяжении человеческой истории. Тут главное состояло в том, что Пушкин оказывался не позади, в музейно-археологическом прошлом, а всегда впереди, в будущем. Петр Васильевич сформулировал проблему еще в 1979 г. (книга «Литература и теория»): «Пушкин как человеческая задача русской литературы» (эта формула, к сожалению, как-то утратилась при переработках книги). основополагающая мысль, идущая от Гоголя и Достоевского, и реализуется в развитии русской литературы, которая «разрастается не только от Пушкина, но и к Пушкину» [Палиевский: 34].

Вместе с Пушкиным и вся русская классика с ее идеалом духовного, внутреннего устройства «лучшего русского человека» и человеческой жизни в целом оказывалась в будущем, и уже оттуда словно всматривалась в деяния всякого рода интерпретаторов (театральных и прочих режиссеров, музыковедов, литературоведов и пр.). Этой теме было посвящено выступление Петра Васильевича на знаменитой дискуссии 1977 г. «Классика и мы» в Центральном доме литератора. Я не буду подробно на нем останавливаться. Скажу только, что Петр Васильевич продемонстрировал, как бойкие интерпретаторы классических произведений, в сущности, стремились уничтожить идеал, который несла в себе классика. Причем это делалось во имя «современного подхода» к устаревшему наследию и явно преследовало собственные цели. Несоразмерность масштабов того и другого

явления не вызывала сомнений. Петр Васильевич подкрепил свое мнение конкретными историческими примерами, противопоставив 1920-е гг. в советской литературе, за которыми настойчиво стремились утвердить репутацию эпохи свободы и высших литературных достижений, 1930-м и 1940-м гг. Именно тогда, по мысли Петра Васильевича, в связи с пушкинским юбилеем была на государственном уровне предпринята попытка сблизить высокую, дворянскую культуру с народной жизнью. Расширились школьные программы по литературе, преимущественно за счет классических произведений Пушкина, Гоголя, Льва Толстого и др. Театральные сезоны Большого театра начали открываться постановкой «Ивана Сусанина» Михаила Глинки — первой русской классической оперы. Из всех радиоприемников стала звучать русская классическая музыка. И встречное движение со стороны глубинных основ народной культуры не заставило себя ждать. Отсюда — появление «Тихого Дона» и других произведений вплоть до «деревенской прозы» и «тихой лирики». Закончил доклад Петр Васильевич, кажется, напоминанием об одной сценке из комедии Василия Макаровича Шукшина «До третьих петухов» (привожу ее в вольном пересказе).

Старинный православный монастырь, из которого монахи изгнаны чертями. Чернецы собрались тесным кружком и обсуждают, как им теперь быть. Тут является «изящный черт» с предложением «халтуры», на которой можно хорошо заработать. «В монастыре, — заявил черт, — есть множество портретов. Их нужно переписать. Вам же все равно нечего делать». «Какие портреты, как переписать?». «Да это же иконы», — догадался один из монахов. «А кем же ты хочешь заменить святые лики?». «Да нами!» — уверенно бросил черт. «Бей его!» — воскликнул молодой монах, и все бросились на нечистого. Но тот отступил за пики своей чертовской свиты и оттуда провозгласил: «Какие же вы все-таки охламоны, быдло! Не хотите идти в ногу со временем, отказываетесь от выгодного предложения. Все равно погибнете с голоду!» [Классика: 25–26].

Стоит ли говорить о реакции немалой части собравшейся в большом зале Центрального дома литератора публики; ее бурное негодование, казалось, выплеснется через край. Оно и выплеснулось, судя по последующим публикациям в советской партийной и зарубежной печати, проявившим редкое единодушие.

И еще одно воспоминание, свидетельствующее о масштабности мысли Петра Васильевича, никогда не замыкавшегося только на русской литературе. 2003 г., XIII Международный съезд славистов в Любляне (Словения). Начало доклада П. В. Палиевского «Пушкин в движении европейского сознания»: «Если расположить на карте Европы национальных гениев ее литератур и проставить даты их жизни, получится картина странного движения. Оно опоясывает границы континента каким-то прерывистым ходом по часовой стрелке...». Далее следуют примеры: Гомер, Гесиод (Греция), Вергилий и Гораций, а потом Данте (Рим) и т. д. Пушкин является здесь последним. «Он как бы замыкает движение, возвращает его к классической Греции... На нем европейское духовное пространство выходит на свой крайний восточный предел, заканчивает формирование». Затем докладчик обращается к конкретным наблюдениям и определениям. Они, как всегда у Петра Васильевича, неожиданны, парадоксальны, но подтверждаются историческими фактами. Это «темные и бродячие племена» Запада (с точки зрения византийцев); Европа, собственно, кончается за Рейном (по мнению французов); в нее никак не следует включать «островитян» (так думали сами англичане); славяне — варвары (считали немцы) и, наконец, русские: они «настолько же ниже немцев, насколько немцы ниже нас» (американский президент Т. Рузвельт в письме английскому дипломату С. Райсу). «Великие поэты эти представления преодолевали», — утверждает Палиевский. И добавляет о Пушкине и о том, что «европейское сознание разворачивалось в нем в общение с чем-то явно не европейским», о непонимании Пушкина европейцами и о понимании Пушкиным отличий Европы от России, история которой требует «другой мысли, другой формулы» и т. д. И тут же об аристократизме Шекспира (образы Калибана и Просперо в «Буре») и принципиальном демократизме Пушкина, о Флобере, Тургеневе, Бернарде Шоу, Шолохове и о многом другом: об отчаянии Шекспира (по Достоевскому) и радостном, веселом Пушкине (по Блоку), о поднимающемся в литературе русском сознании и о развивающейся жизни [Литература: 119–127].

Реакция аудитории (весьма квалифицированной) на доклад была примечательной. Сначала настороженная тишина, а затем взрыв эмоций: каждый говорил о себе и о своем (не только о литературе), никто никого не слушал, а ведущему пришлось уговаривать научное собра-

ние утихомириться. На этом можно было бы и закончить, если бы не курьезный, но и символический эпизод из той же поездки.

Русская делегация возвращается на Родину и проходит в аэропорту Люблины багажный контроль: некий аппарат высвечивает внутренности наших сумок и чемоданов — ручной клади. Кто бывал в этом маленьком аэропорту, тот, наверное, запомнил его провинциальную, почти домашнюю атмосферу: тишина, покой, общее благодушие. И вдруг вопль сирены, грохот падающих металлических жалюзи, топот ног людей в черных масках и с автоматами. Всех немногочисленных пассажиров укладывают лицом в пол, и те замирают в ужасе. Что случилось? Выясняется, что причиной тревоги было изображенное на экране дисплея содержимое сумки доктора филологических наук П. В. Палиевского. Среди прочего на экране представлен силуэт какого-то большого сосуда с торчащей из него штуковиной с проводом и вилкой. Бомба!!! Перепуганным словенцам пришлось объяснять и демонстрировать литровую эмалированную кружку с кипятильником, без которых (правда, не таких размеров) ни один опытный командированный из СССР (России) не отправлялся в путешествие. Ведь чай, причем не купленный за драгоценную валюту, — дело святое. Недоумение благополучно разрешилось. А я не преминул заметить сконфуженному Петру Васильевичу о том, что одну бомбу (литературоведческую) ему все-таки удалось взорвать на съезде, а с другой — все, слава Богу, обошлось.

Список литературы
Исследования

«Классика и мы» — дискуссия на века: сборник / сост. С. С. Куняев. М.: Алгоритм, 2016. 384 с.

Литература, культура и фольклор славянских народов. XIII Международный съезд славистов / отв. ред. Л. И. Сазонова. М.: ИМЛИ РАН, 2002. 438 с.

Палиевский П. В. Литература и теория. М.: Сов. Россия. 1979. 288 с.

References

“Klassika i my” — diskussiiia na veka: sbornik [*“Classics and Us” — A Discussion for the Ages: collection*], comp. by S. S. Kunyaev. Moscow, Algoritm Publ., 2016. 384 p. (In Russ.)

Sazonova, L. I., editor. *Literatura, kul'tura i fol'klor slavianskikh narodov. XIII Mezhdunarodnyi s'ezd slavistov* [*Literature, Culture and Folklore of the Slavic Peoples. XIII International Congress of Slavists*]. Moscow, IWL RAS Publ., 2002. 438 p. (In Russ.)

Palievskii, P. V. *Literatura i teoriia* [*Literature and Theory*]. Moscow, Sovetskaia Rossiia Publ., 1979. 288 p. (In Russ.)

© 2023. А. В. Гулин

Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук
г. Москва, Россия

Время Палиевского

Аннотация: В основу статьи положены личные воспоминания автора о встречах, сотрудничестве и беседах с выдающимся русским филологом Петром Васильевичем Палиевским. Ученый исключительного диапазона Палиевский получил широкое признание в России и за рубежом в качестве автора ставших классическими исследований. Автор статьи пытается определить существенные особенности его вклада в теорию литературного образа, изучение природы художественных ценностей, выявление закономерностей литературного процесса. Книги и статьи, публичные выступления, устные суждения Палиевского о писателях, о русской и мировой художественной культуре, о судьбе России в бурном движении человечества рассматриваются как выражение целостной, самобытной системы взглядов на человека и мир. На примере отдельных жизненных эпизодов и высказываний ученого в статье раскрывается личность, уникальная для отечественного литературоведения, культурологии, обществознания по степени вовлеченности в мировые идеологические процессы и почти всеохватной широте кругозора. Деятельность Палиевского освещается как служение своему Отечеству богато одаренного ученого-патриота, продолжателя и хранителя национальной традиции в российской филологии.

Ключевые слова: П. В. Палиевский, российское литературоведение, литературный процесс, теория литературы, А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой.

Информация об авторе: Александр Вадимович Гулин, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25 а, 121069 г. Москва, Россия

E-mail: gulinimli@yandex.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 05.03.2023

Дата одобрения статьи рецензентами: 17.04.2023

Дата публикации статьи: 25.06.2023

Для цитирования: Гулин А. В. Время Палиевского // Два века русской классики. 2023. Т. 5, № 2. С. 168–181. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-168-181>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 168–181. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 168–181. ISSN 2686-7494

In Memoriam

© 2023. Alexander V. Gulin

A. M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences Moscow, Russia

Time of Palievsky

Abstract: The article is based on the author's personal memories of meetings, cooperation and conversations with the outstanding Russian philologist Pyotr Vasilyevich Palievsky. Being a scientist of exceptional range, Palievsky has received wide recognition in Russia and abroad as the author of classic studies. The author of the article tries to determine the essential features of his contribution to the theory of literary image, the study of the nature of artistic values, the identification of patterns of the literary process. Palievsky's books and articles, public speeches, oral judgments about writers, about Russian and world artistic culture, about the fate of Russia in the turbulent movement of humanity express scholar's holistic, original system of views on man and the world. Using the example of individual life episodes and statements of the scientist, the article reveals a personality unique to Russian literary studies, cultural studies, social studies in terms of the degree of involvement in world ideological processes and almost all-encompassing breadth of horizons. The article highlights activity of Palievsky as the service to his Fatherland of a richly gifted scientist-patriot, continuer and keeper of the national tradition in Russian philology.

Keywords: P. V. Palievsky, Russian literary studies, literary process, theory of literature, A. S. Pushkin, L. N. Tolstoy.

Information about the author: Alexander V. Gulin, DSc in Philology, Leading Research Fellow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25 a, 121069 Moscow, Russia.

E-mail: gulinimli@yandex.ru

Received: March 05, 2023

Approved after reviewing: April 17, 2023

Published: June 25, 2023

For citation: Gulin, A. V. "Time of Palievsky." *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 168–181. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-168-181>

Автор этих строк не может назвать Петра Васильевича Палиевского своим учителем. Никогда в строгом смысле слова мне не приходилось учиться у нашего замечательного литературоведа, мыслителя, публициста. Скорее, моим учителем, сам того не подозревая, много лет оставался другой выдающийся филолог — Эдуард Григорьевич Бабаев. И тем не менее, за те неполные четыре года, что прошли со времени ухода Палиевского, редко выдавался день, когда я не вспоминал бы о нем. Его книги и статьи, его афористичные устные суждения о писателях, о литературном процессе, о русском и мировом искусстве, о судьбе России в бурном движении человечества — больше, его видение мира как целостная в большом и в малом система воззрений как-то незаметно отозвались и отзываются во мне — одном из многих современников, кому довелось лично узнать Петра Васильевича. Эти короткие заметки — дань памяти одного из выдающихся людей нашего времени.

О Палиевском я впервые услышал весной 1979 г., оказавшись двадцатилетним студентом факультета журналистики МГУ на практике в газете «Комсомольская правда». Меня командировали в отдел литературы и искусства, которым заведовал в то время известный критик Валентин Михайлович Свининников. При первом же разговоре со мной он посоветовал в качестве безусловного критического ориентира читать книги и статьи Палиевского.

Это было недолгое время, когда «Комсомолкой» руководил Валерий Николаевич Ганичев, и газета — разумеется, в рамках коммунистической идеологии, держалась традиционного, патриотического направления. В самый момент, когда я представлялся Свининникову, в кабинет к нему вошла одна из сотрудниц и попросила воспользоваться телевизором в кабинете начальника, чтобы всем отделом посмотреть

ожидавшуюся дневную передачу памяти Николая Рубцова. О Рубцове я, конечно, слышал, но стихов его тоже почти не знал. Факультет журналистики жил по большей части шумливыми современными именами: Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина, Окуджава... Сам я только-только выходил из почти трехлетней юношеской зачарованности стихами Вознесенского. Вспоминаю об этом потому, что имена Палиевского и Рубцова (как большого русского поэта) впервые прозвучали для меня одновременно и вместе. Позднее я спрашивал: «Петр Васильевич, случалось Вам встречаться с Рубцовым? Хотя бы через Кожина не были Вы знакомы?» Ответ, к моему сожалению, был отрицательным.

Что же касается работ Палиевского (я прочитал статьи о Шолохове, Фолкнере и «Хаджи-Мурате» Толстого), то они на меня — тогдашнего, большого впечатления, увы, не произвели. Предстояло еще подрасти.

Настоящее открытие Палиевского — литературоведа и мыслителя, началось для меня на рубеже 1980–1990-х гг., в пору моего позднего учения в аспирантуре Института мировой литературы. А личное знакомство случилось и того позднее — когда он оставил пост заместителя директора ИМЛИ и перешел в Группу по подготовке собрания сочинений Льва Толстого, где в это время уже работал и я.

Петр Васильевич определенно был человеком крупного калибра — самобытным, единственным. Я далек от мысли, что он решительно возвышался над всеми своими современниками. С некоторыми из них он стоял на одной высоте, многие превосходили его по своему общественному влиянию. Даже и в мире филологическом одновременно с ним совершали свой творческий путь Вадим Валерианович Кожин, Александр Викторович Михайлов, Николай Николаевич Скатов, Эдуард Григорьевич Бабаев и еще несколько замечательных литературоведов. Не говоря уже о многих деятелях поздней советской и постсоветской эпохи в самых разных областях культуры. Однако по степени вовлеченности в мировые идеологические процессы, почти всеохватной широте кругозора Палиевский выглядел фигурой уникальной для отечественного литературоведения, культурологии, обществознания, до известной степени — философии... Все это просто невозможно было не замечать.

Палиевский принадлежал к поколению, которое пришло на свет в последнее десятилетие перед Великой Отечественной войной, то есть к поколению моих родителей. Представить себе значение Петра Васильевича для умственной жизни Советского Союза 1960–1970-х гг. — в пору царствующей литературы и время наивысшего расцвета таланта Палиевского, для нас, детей другой эпохи, едва ли было возможно в полной мере. Отдавая должное его таланту, его аналитической одаренности, его заслугам, находя в нем почти отеческую поддержку по множеству научных и мировоззренческих вопросов, мои сверстники не разделяли иных убеждений Палиевского, не могли принять до конца ту философскую систему, обладателем которой он, безусловно, являлся. Но мы испытывали к нему почти сыновнюю любовь и неизменно находили в нем своего мудрого старшего товарища.

Однажды в завершение долгого разговора со мной он сказал: «Мне жаль ваше поколение. У вас нет никакой общественной силы, с которой вы могли бы себя соотнести. Вы все сами по себе».

Я ничего не ответил. Но про себя подумал: «Петр Васильевич! Бог нас водит, он наш Генерал!»

Первое, что поражало в нем — необыкновенная острота мысли и способность почти мгновенно принимать верные и ответственные решения. Это не могло не восхищать — настолько быстрого и точного ума мне встречать больше никогда не приходилось. Долгое объяснение проблемы ему досаждало. Он улавливал существо вопроса буквально с первой фразы, так что продолжения не требовалось.

Его познания были огромны и при этом находились в безупречном порядке. Ум его всегда казался мне больше аналитическим, чем поэтическим. Палиевский прекрасно чувствовал поэзию (иначе и быть не могло), но она, скорее, волновала его со стороны высказанной поэтом идеи, а не с точки зрения заключенного в ней идейно-эмоционального комплекса.

Впрочем, Петр Васильевич раскрывался для меня очень постепенно. Только в последние 10 лет его жизни наше с ним общение сделалось

довольно частым, по-настоящему глубоким и, надеюсь, хотя бы отчасти обоюдно заинтересованным.

Подобно большинству творческих людей своего поколения, Палиевский, безусловно, имел в себе и нечто наполеоновское, то есть выстраивал картину мира не от Бога, но от человека — в конечном счете (хотел он того или нет), из самого себя. В его системе координат — сложной и разветвленной, это означало постигать мир «из жизни».

Возможно, именно поэтому он так безраздельно любил Льва Толстого — как показало время, главного выразителя и творца русского мировоззрения советской эпохи. Толстой представлялся ему неоспоримо объективным художником. Можно сказать, что во многом Палиевский с его широчайшей эрудицией в каком-то смысле все же находился на орбите, образованной в нашей мысли, в нашей истории Толстым. При этом, воспринимая Толстого глубоко и зорко, он нередко оставался в пределах советской традиции. Помню, меня поразило однажды, как Петр Васильевич неожиданно назвал Платона Каратаева одним из крестьянских типов, противопоставленным типу Тихона Щербатого. «Безличного» праведника толстовской веры, который соединяет в себе все «лучи» огромного повествования, он здесь, по-видимому, не предполагал. Вообще Петр Васильевич на протяжении десятилетий склонялся к тому, что Толстой понял жизнь и понял единого для всех Бога с неповторимой силой и полнотой.

Впервые Палиевский обратил внимание на мои скромные труды, когда начал редактировать реальный комментарий к «Войне и миру», над которым, поделив роман-эпопею на части, несколько лет трудились мы с Виктором Игоревичем Щербаковым. Наша работа, как следовало из его слов и бисерным почерком оставленных на полях карандашных пометок, нравилась Палиевскому в высшей степени. Он был неравнодушным редактором и как-то почти по-детски радовался обнаруженным нами новым источникам, обилию приведенных исторических фактов и особенно удачным случаям их использования в комментарии. При этом он говорил, что мы впервые так широко «привязываем» роман к истории, что сделать это было давно необ-

ходимо. Ему понравилась — по мысли и по названию, и моя статья «Поэзия правды», посвященная историческим источникам в «Войне и мире».

Не исключаю, впрочем, и того, что Петр Васильевич таким вот образом хотел окрылить нас для дальнейшей работы. Много позднее он делился со мной своим богатым опытом администратора: «Людей надо хвалить. Даже и за самые малые успехи. Это лучший и, в сущности, единственный способ руководства и побуждения к работе. А потом, чем еще утешиться бедному филологу в наше трудное время?» Не могу сказать, что я и тогда и сегодня вполне соглашался с ним. Все же здесь угадывался некий элемент манипуляции людьми.

Правда, случалось мне слышать от Палиевского и не одни похвалы. На рубеже 1990-х и 2000-х гг. я напечатал несколько статей, где пытался рассматривать творчество Толстого как нерасторжимое единство великих прозрений и эпохальных парадоксов. Одна из них предваряла издание «Кавказского пленника» и «Хаджи-Мурата» в «Школьной библиотеке». В принципе, я проявлял известную осторожность и не торопился знакомить с этими статьями своих начальников — Петра Васильевича Палиевского и Лидию Дмитриевну Громову-Опульскую. Я даже писал эту статью с известной «оглядкой», опасаясь неосторожно травмировать дорогих мне людей (сегодня видно, насколько же это помогло мне избежать прямолинейных и недостаточно выверенных суждений). Тем не менее, «Хаджи-Мурата» со своим большим предисловием Петру Васильевичу я однажды все-таки подарил.

В принципе, ничего особенно «критического» в отношении Толстого (какая уж тут может быть критика!) эта статья не содержала: неприличный до некоторой степени взгляд — и не более того. Я работал над ней долго, обдумывая каждое слово, я писал ее с любовью к материалу. Однако оценка Петра Васильевича оказалась весьма суровой, пожалуй, даже не имеющей прямого отношения к моему подарку. Позднее, обдумывая ситуацию, я, кажется, понял, как обстояло дело. Несколько днями раньше я делал на конференции доклад о «Войне и мире», где высказал похожие идеи. Палиевского там не было. Зато была Лидия Дмитриевна, которую, вероятно, не на шутку встревожили «новые веяния». Она-то, как мне представляется, и попросила Петра Васильевича из самых лучших побуждений предостеречь меня. Он же сделал это

весьма своеобразно. «Слышу огненный голос Савонаролы», — сказал Палиевский по поводу прочитанного.

Честно говоря, не было там никакого «огненного голоса» — была образная, очень даже «мягкая» аналитика. Я и сегодня люблю, как прежде, эту свою наполовину лирическую работу. Слышал я о ней и самые добрые отзывы других уважаемых мной людей. И вот надо же! Мне стало и досадно, и почему-то смешно. Статья оказалась только поводом для своеобразного «отеческого вразумления».

Случай этот скоро забылся. Однако, как выяснилось, не совсем. Стоило мне, бывая в Италии, увидеть памятник Савонароле в его родной Ферраре, или другой памятник — ему же, в садах римской виллы Боргезе, оказаться у кельи мятежного монаха во флорентийском монастыре Сан-Марко, как тут же возникал в памяти Палиевский. И с этим ничего нельзя было поделать.

В ту пору и позднее мне случалось сокрушаться про себя, что написанное мной либо «уходит в песок», либо вызывает непонимание, как это вышло с «приговором» Палиевского современному Савонароле. А между тем время шло, и как-то незаметно то, что казалось еще вчера едва ли не «бунтом», входило в обиход. В последние годы Петра Васильевича чрезвычайно волновала тема «Толстой и революция». И выяснилось вдруг, что мы почти одинаково видим Толстого — особенно позднего, правда, подступая к нему с противоположных точек зрения. Во всяком случае, ничего возмутительного в моих, оставшихся неизменными, понятиях Палиевский больше не находил.

Свою работу в ИМЛИ Петр Васильевич начинал в Отделе теории литературы, который переживал в 1960-е гг. свой «золотой век». Палиевский оказался одной из наиболее ярких «звезд» этого прославленного Отдела. Исключительно велик его вклад в теорию литературного образа, изучение природы художественных ценностей, выявление закономерностей литературного процесса. Его работы «О структурализме в литературоведении», «К понятию гения», «Образ или словесная ткань?», «Пути реализма», «Русские классики: опыт общей характеристики» и еще многие другие стали событиями в Советском Союзе и за рубежом. Вместе с тем теоретические достижения Палиевского нашли свое продолжение

в углубленном, нетривиальном изучении Пушкина и Льва Толстого, Леонтьева и Розанова, Шолохова и Булгакова, Фолкнера и Грэма Грина, Замятина и Хаксли. Органичными свойствами его исследований всегда были образцовая логика, масштабность и отточенность мысли, верность национальной научной традиции.

Он оставил не столь уж обширное печатное наследие. Однако сжатая сила им написанного всегда была впечатляющей. Тем не менее, у меня часто возникал вопрос: как соотносятся в его научной жизни письменное и устное начала? Я помню Палиевского уже в то время, когда он больше говорил, чем писал. Возможно, его писательский дар сбывался в это время главным образом в его обширной переписке.

Круг его общения был огромен. Он включал в себя почти весь ИМЛИ, несколько других академических Институтов и московских Высших учебных заведений. А еще были десятки приезжих из российской провинции, из бывших союзных республик. Иностранцы тянулись к нему отовсюду, везде у него находились благодарные почитатели: в Европе, Америке, Китае, Индии. Скажем, после заседаний Отдела или Группы поймать его для обсуждения каких-то новых деловых вопросов было очень сложно. Он почти непременно с кем-то уже беседует. Он в ИМЛИ, как Сократ в древних Афинах, неустанно учит, спорит, наставляет. С кем-то обсуждает его задуманную книгу, с кем-то диссертацию.

При этом в Палиевском не замечалось и малейшего авторского тщеславия. «Петр Васильевич, а Вы не боитесь расплескать в этом общении свои, в том числе, еще не обнародованные мысли?» — спросил я его однажды. «Нет, не боюсь, — ответил он, — пусть подхватывают, используют, несут дальше». Сегодня понятно, что для него эти постоянные разговоры были полноправным и очень результативным творчеством, не менее важным, чем творчество письменное.

Для многих из нас, если не для всех, Палиевский остался человеком до конца не познанным, человеком-загадкой. Возможно, его значение, суть и смысл его жизненного пути лучше нас — в той или иной степени его единомышленников, понимали его недруги, в которых у Петра Васильевича тоже не было недостатка. Так уж заведено в России, что истинное достоинство человека часто определяется си-

лой ударов, которые он на себя навлекает. Палиевский при этом, как настоящий боец, оставался вынослив, хладнокровен и не терял ни на миг бодрости ума.

Однажды я сказал ему: «Петр Васильевич, если и спасется наше Отечество, то уж точно это произойдет совсем не так, как мы себе можем представлять и желать». Он махнул рукой: «Ну да это же давно понятно!» А несколько лет спустя, в 2014 г. после Крымской речи Президента России мы уже говорили с ним о первых признаках национального возрождения, о первом смятении в либеральных кругах. По поводу этих кругов я заметил: «Домового ли хоронят, / Ведьму ль замуж выдают?» «Вы неправильно ставите вопрос, — отвечал Палиевский. — Тут надо спрашивать иначе: “Что так жалобно поют?”»

Все, кто знал Петра Васильевича в его последние годы, изумлялись: человеку далеко за восемьдесят, а ему как будто и старости нет: звонкий по-юношески голос, быстрая, крепкая походка — даже люди сравнительно молодые, идя рядом с Палиевским, нередко уставали, с трудом выдерживали темп, который он задавал. И этот дар удивительно долгой, словно непреходящей молодости таинственным образом был сопряжен с не покидавшей Палиевского великой бодростью духа и жадным интересом к жизни.

Во время одной из последних бесед с Петром Васильевичем летом 2019 г. я пожаловаться: до чего же мир, окружающий нас, бывает порой неприветливым, хмурым, чуть ли не ужасным! И в ответ услышал: «Да-да, он временами еще хуже, чем Вам кажется. Но до чего же интересен!»

Я никогда не видел его скучающим, равнодушным. Впечатления науки, искусства, природы, частной и политической жизни мгновенно становились достоянием его мысли и чувства, отзывались в богатом и стройном внутреннем мире, где всё сопрягалось со всем. Его литературоведение было живым фактом современности, имело отношение ко всем сторонам бытия. Оно было вездесущим и радостным. Мне приходилось встречать коллег, для которых знакомство с Палиевским становилось настоящим профессиональным откровением. Видимо, причина тому была проста: Петр Васильевич возвращал филологию к ее многомерным основополагающим смыслам, рассеивал туман, помогал надежно стать на твердую, здоровую, цветущую почву.

За несколько месяцев до его ухода мы выступали с ним на очередном заседании Научной группы по изучению Льва Толстого в московском музее писателя. Третьим выступающим был наш замечательный коллега — выдающийся филолог, издатель и педагог Алексей Владимирович Федоров. За какое-то время до заседания группы, естественно, нужно было определить его проблематику. После довольно долгих размышлений мне показалось, что самой необходимой и актуальной будет тема «Толстой в современной российской школе». Я позвонил Палиевскому и, еще не поделившись своим замыслом, спросил, есть ли у него какие-то предложения. И вдруг услышал: «Толстой в современной школе». Доклад, с которым выступил тогда Петр Васильевич, был озаглавлен емко и точно: «Наукообразие в современной школе как форма уничтожения смыслов».

После заседания мы втроем шли по Пречистенке к метро. Невозможно было даже подумать, что это одна из последних наших встреч с Палиевским. Он шагал все так же бодро, говорил оживленно и заинтересованно. Впрочем, на какое-то мгновение мне впервые показалось, что в его походке, в его словах было что-то непривычно трудное, словно преодолевающее незримую усталость.

Мне приходилось говорить с Петром Васильевичем о самых разных предметах, но особенное место среди них занимала музыка. Как можно догадываться из всего, что сказано выше, он должен был обладать — и обладал! — исключительно тонким и развитым музыкальным чутьем. Естественно, его музыкальные пристрастия и музыкальный кругозор были весьма далеки от простой культурной копилки, куда без разбору складываются впечатления от всего услышанного.

Нет, Палиевский был разборчивым, «горячим» меломаном со своими симпатиями и антипатиями. Но при этом он и о музыке судил прежде всего аналитически, глубоко постигая самое существо этой загадочной творческой области. Впрочем, то же самое говорил мне один восхищенный его проницательностью художник, картинам которого Петр Васильевич однажды устроил взыскательный разбор. «Вы понимаете, — рассказывал этот человек, — он как-то без малейшего усилия увидел все до мелочей — что мне давалось легко, а что трудно, что я “вытянул”, а в чем “не дотянул” — даже то, что, казалось, никто

кроме меня не знает — и в то же время очень верно определял целое». Создавалось порой впечатление, что он каким-то интуитивным, природным даром улавливал фундаментальные законы художественного творчества со всеми его родовыми различиями — и уже на этой основе судил затем о каждом отдельном явлении.

Сказанное не исключает, конечно, и его глубоко личного отношения к тому или другому творцу или даже художественному направлению. В конце концов, именно погружение предмета в собственную картину мира обеспечивало в случае с Палиевским глубину вполне объективного постижения искусства. Так что в своем познании законов прекрасного он должен был порой впадать и в крайнюю субъективность. В зарубежной музыке, например, он дорожил венскими классиками и особенно немецкими романтиками, но совершенно не принимал полифонию Иоганна Себастьяна Баха, считал его творчество механическим, мертвым. «Петр Васильевич, да ведь это просто иная, сверхчувственная музыка, у Баха многие партитуры, по свидетельствам музыковедов, даже построены крестообразно, даже на нотном уровне несут в себе христианское содержание!» В ответ на это можно было услышать: «Вот-вот, здесь все идет от головы, а не от жизни!» Точно так же для него была полностью чуждой музыка Сергея Прокофьева. Палиевский любил сравнивать его с Маяковским в поэзии, которого также на дух не принимал.

Впрочем, своего мнения он никому не навязывал и даже охотно выслушивал как полностью законные суждения своих оппонентов. Более того, в дальнейшем, как я убедился, такие мнения он периодически учитывал. Однажды мне показалось, что Палиевский как-то очень уж «революционизирует» Бетховена, представляет его только «вулканическим», «титаническим» композитором. И я заметил, что все это, конечно, так, но бетховенский «титанизм» постоянно умеряется изумительной стройностью формы и почти беспримерными благородством и чистотой в музыкальном выражении чувства. Через несколько лет мы как-то снова заговорили о Бетховене. На этот раз уже я неосторожно утверждал, что Бетховен грубо «перенастроил» до наших дней всю звуковую картину мира. И вдруг услышал от Палиевского: «Но все же какое благородство!»

Как-то я дерзнул показать ему свой небольшой, предназначенный для детского чтения очерк-зарисовку о Моцарте. В основном Петр Ва-

сильевич отнесся к написанному снисходительно, однако решительно воспротивился мысли о том, что Сальери, по всей вероятности, не был отравителем Моцарта: «Нет-нет, Пушкин не мог ошибаться, потому что открывал историю на самой большой, недоступной ученому постижению глубине!»

В целом же, как ни любил он европейских композиторов, в его отношении к ним все-таки наблюдалась едва заметная отстраненность. Безраздельной была его любовь к русской музыке. Он и меня как-то упрекнул в том, что я излишне привязан к европейской музыкальной культуре, так что я должен был объяснять: «Просто домашнее любишь совсем по-другому, как часть самого себя!» Палиевский, насколько могу судить, был во многом воспитан Большим театром, Московской консерваторией 1950–1960-х гг. — времени наивысшего их расцвета и царствующей в них русской национальной традиции. Относительно отечественной музыки второй половины XIX в. Петр Васильевич держался того мнения, что она движется тремя равноправными могучими «потоками»: Мусоргский, Чайковский, Римский-Корсаков. Ни одному из этих гениев он не отдавал решительного предпочтения, хоть временами все же была заметна его особенная любовь к Мусоргскому и чуть более сдержанное (так мне казалось) отношение к Чайковскому.

Всего же более восхищало Палиевского творчество его земляка Михаила Ивановича Глинки — начала всех начал в русской классической музыке: альтовая соната (в обработке и исполнении Вадима Борисовского), прощальная молитвенная ария Сусанина из четвертого действия «Жизни за царя», ликующе русская увертюра к «Руслану и Людмиле». Палиевский даже Нестора Кукольника склонен был иногда причислять к большим поэтам — вероятно, лишь потому, что его стихи оказались «освещены» вечной музыкой Глинки.

Говорили мы с ним и о живописи. Иногда разговор касался великих итальянских художников. Он довольно сдержанно относился к «высокому» Ренессансу, но бесконечно любил «весну» Возрождения: Фра Анджелико, Мазаччо, Беноццо Гоццолли, Доменико Гирландайо. Время найденных словно впервые объема, перспективы, цветущих красок...

Петр Васильевич ушел от нас одновременно со своей эпохой. Наступили новые — героические, грозные — окрыляющие времена. Что же — время Палиевского закончилось? Иногда мне кажется, что оно только приходит.

© 2023. И. Н. Афанасьев

Гомельский государственный университет
им. Франциска Скорины
г. Гомель, Республика Беларусь

Соловьёв перевоз Петра Палиевского, или Жизнь и смерть идей в диалогах о войне и мире

Аннотация: В статье рассматривается образ истории, сформированный в воззрениях литературоведа и мыслителя П. В. Палиевского. Мысли Палиевского (за исключением ссылок на опубликованные труды) были высказаны им в переписке и устных беседах, записи которых хранятся в личном архиве автора. В центре внимания оказывается личный опыт Великой Отечественной войны, выраженный у Палиевского в таком теоретическом обобщении гуманитарного знания о человеке и истории, которое предполагает концептуальное первенство жизни, осмысленной в ее «стволовом» качестве как преодоления разрыва «своего» и «чужого». На этом основано понимание Палиевским героического, что влечет за собой не только литературоведческую установку, но и оценку конкретных человеческих судеб в их принадлежности большой Истории. В статье этот подход воплощен на примере воинской судьбы полководца, Героя Советского Союза А. И. Лизюкова.

Ключевые слова: П. В. Палиевский, литература человеческого документа, А. И. Лизюков, Великая Отечественная война, Соловьёва переправа, образ истории, национальная проблематика.

Информация об авторе: Иван Николаевич Афанасьев, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой русской и мировой литературы, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины, улица Советская, д. 104, 246019 г. Гомель, Республика Беларусь.

E-mail: knigarnik@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 07.03.2023

Дата одобрения статьи рецензентами: 22.04.2023

Дата публикации статьи: 25.06.2023

Для цитирования: Афанасьев И. Н. Соловьёв перевоз Петра Палиевского, или Жизнь и смерть идей в диалогах о войне и мире // Два века русской классики. 2023. Т. 5, № 2. С. 182–197. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-182-197>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 182–197. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 182–197. ISSN 2686-7494

In Memoriam

© 2023. **Ivan N. Afanasyev**
Francisk Skorina Gomel State University
Gomel, Republic of Belarus

Solovyovo Crossing of Peter Palievsky, or Life and Death of Ideas in Dialogues about War and Peace

Abstract: The article deals with the image of history formed in the views of the literary critic and thinker P. V. Palievsky. Palievsky's thoughts (with the exception of references to published works) were expressed by him in correspondence and oral conversations, the records of which are kept in the author's personal archive. The focus is on the personal experience of the Great Patriotic War, expressed by Palievsky in such a theoretical generalization of humanitarian knowledge about man and history, which implies the conceptual primacy of life, comprehended in its "stem" quality as overcoming the gap between "own" and "alien." This is the basis of Palievsky's understanding of the heroic, which entails not only a literary orientation, but also an assessment of specific human destinies in their belonging to a great History. This approach is embodied in the article on the example of the military fate of the commander, Hero of the Soviet Union A. I. Lizyukov.

Keywords: P. V. Palievsky, literature of the human document, A. I. Lizyukov, Great Patriotic War, Solovyovo crossing, image of history, national problems.

Information about the author: Ivan N. Afanasyev, Candidate of Philological Sciences, docent, Head of the Department of Russian and World Literature, Francisk Skorina Gomel State University, Professor of the Academy of Military Sciences of Russia, ul. Sovetskaya 104, 246019 Gomel, Republic of Belarus.

E-mail: knigarnik@mail.ru

Received: March 07, 2023

Approved after reviewing: April 22, 2023

Published: June 25, 2023

For citation: Afanasyev, I. N. Solovyovo Crossing of Peter Palievsky, or Life and Death of Ideas in Dialogues about War and Peace. *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 182–197. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-182-197>

К знакомству с Петром Васильевичем Палиевским меня привела давняя мечта: пригласить легендарного Палиевского в Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины для чтения лекций студентам и преподавателям кафедры русской и мировой литературы, а по большому счету — для встреч с ценителями литературы. Для меня Палиевский всегда был человеком Истории, в которой драматически соседствовали угон семьи Палиевских в немецкое рабство в годы Великой Отечественной войны и вершины академической науки. Нетрудно догадаться, что приезд Палиевского в Гомель стал бы событием, и не только литературным.

Позвонив в Москву и услышав в трубке молодой голос, я представился и попросил не известного мне собеседника пригласить Петра Васильевича к телефону. В ответ услышал: «Это я и есть» — и сразу был поражен молодостью, каким-то юношеским задором, которые ощущались в голосе Палиевского и впоследствии неизменно очаровывали в личном общении с ним. К сожалению, поездке Палиевского в Гомель помешало нездоровье Петра Васильевича. Но судьба была милостивой. Состоялись мои поездки в Институт мировой литературы: по надобности служебной и в качестве стажера. Палиевский охотно согласился быть моим научным руководителем, подарив отраду предельно откровенных и честных бесед, взыскательных писем, которые неуступчиво строго договаривали всё то, на что не хватило времени в живом разговоре¹.

Начало нашим встречам положил 2016 г. Первая, продолжительная беседа состоялась в кулуарах ИМЛИ. Дистанция рукопожатия сделала еще более очевидным масштаб личности, сочетающий знание литера-

¹ Цитаты Палиевского из бесед набраны в тексте курсивом. Скоропостижная кончина Палиевского не позволила автору заручиться согласием собеседника на обнародование полных стенограмм. Материалы бесед представлены выборочно и характеризуют принципиальные воззрения мыслителя.

туры, жизни и взгляд за горизонт событий, где грядущее готово было препоручить себя заботам Палиевского. Реальная жизнь подчас самым неожиданным образом подтверждала его правоту, следуя точной логике умственных построений Палиевского — литературоведа и философа, блистательно воплотившего в этом единстве традицию русской мысли.

В свое время в классической работе Палиевского «Литература и теория» меня взволновала и профессионально заинтересовала его мысль о том, что серьезного внимания заслуживает факт, который в литературе существует «без посредника» [Палиевский: 137]. Палиевский говорил об опыте XX в., об опыте Великой войны. Говорил о том, что под тяжестью этого опыта человек уходит на глубину. И в этом погружении жизнь не нуждается в писателях, философах, моралистах — толкователях человека. Она обретает язык, которым начинает говорить от первого лица. И чем меньше заговорившая жизнь подбирает загодя слова, чем меньше она соответствует принятому этикету, тем она убедительнее. Палиевский называл это «литературой без писателя», «литературой человеческого документа» и подчеркивал особую ценность свидетельств, которые заносятся на бумагу без «литературных намерений» [Палиевский: 158]. Палиевский говорил о «непрошеном любопытстве» [Палиевский: 158], когда кто-то, как будто бы заглянув через плечо пишущего, видит то, что пишущий доверяет бумаге, доверяет мгновению жизни и, быть может, совершенно не намеревается когда-либо это опубликовать в виде размышлений или дневников.

Я столкнулся с этим чудом откровения жизни, когда в силу профессионального интереса и человеческого родства занимался судьбой моего дедушки — Александра Ильича Лизюкова, Героя Советского Союза, гвардии генерал-майора, командующего 5-й танковой армией. Необходимо было выяснять обстоятельства его гибели в июле 1942 г. под Воронежем и место фронтового захоронения. До 2008 г. эти обстоятельства не были прояснены, а большей частью и вовсе не были известны. Однако некоторые свидетельства присутствовали. В частности, был рассказ о последнем танковом бое Лизюкова у маршала бронетанковых войск М. Е. Катюкова в его знаменитых мемуарах «На острие главного удара». В книге сообщались подробности гибели экипажа, о которых автору «стало известно позже» [Катюков: 163–164].

Общаясь с вдовой маршала Екатериной Сергеевной Катюковой, я интересовался у нее, каково участие редакторов в подготовке этих

мемуаров, насколько учтена воля автора? Очень важно было определить роль того самого архивного массива, который может подавить непосредственность свидетельства об истории в ее жизненных поворотах. Спустя десятилетия после события, вооружившись арсеналом архивных знаний, человек может утратить первородное ощущение этого события как такового. И какой безграничной была моя радость, когда совершенно случайно на чердаке дачи маршала Катюкова была обнаружена его рукопись «Память сердца»: не опубликованная нигде, просто написанная от руки синими чернилами! Собственно говоря, «Память сердца» укрупненно поведала о фронтовом пути Катюкова так, как, наверное, об этом мог рассказать человек, который сохранил в своей памяти, не отягощенной архивами и фронтовыми сводками, то, что для него в жизни было самым важным: «Враг встретил нас огнем неподавленной многочисленной артиллерии. В воздухе появились волны тяжелых бомбардировщиков. Наша слабая артиллерия подверглась жестокой бомбардировке и замолчала. Танки горели, а успеха не было. <...> К т. Лизюкову приехал тов. Чибисов¹ и, видя неуспех, начал оскорблять т. Лизюкова и обвинять танкистов в трусости. Это было несправедливо, дело было не в трусости, а в отсутствии средств подавления врага. Т. Лизюков был глубоко оскорблен и вместе с комиссаром корпуса сел в танк и еще раз повел корпус в атаку. <...> Танки наши горели, но и эта атака была отбита. Т. Лизюков вместе с комиссаром и остальными членами экипажа погибли в танке, и танк остался на поле боя, на территории, занятой врагом. Я приказал командиру 1-й гв. бригады т. Горелову прикрыть огнем и частичной контратакой эвакуацию танка т. Лизюкова. Это было сделано. Но все в танке были мертвы. Снаряд разорвался в танке. Вскоре приехал т. Рокоссовский и приказал прекратить бесплодные атаки. Т. Лизюкова и его товарищей мы похоронили у с. Сухая Верейка»² [Афанасьев 2018: 149–150].

О конфликте Лизюкова с Чибисовым в изданных мемуарах Катюкова не говорилось. Однако «Память сердца» вернула долг сполна, освободив историческое событие от литературных атрибутов.

¹ Н. Е. Чибисов — генерал-лейтенант, командующий оперативной группой Брянского фронта; непродолжительное время в июле 1942 г. — заместитель командующего фронтом.

² Факсимильное воспроизведение рукописи см.: [Афанасьев 2018].

Это был факт без литературного опосредования. Это был факт, который явил себя на бумаге как ценнейшее свидетельство без литературных намерений. И это был факт, который поставил окончательную точку в вопросе о том, как погиб мой дед и где он был захоронен. Оковы позднейших подробностей, нередко восстановленных как бы сторонним, боковым зрением автора, готового разделить свою память о былом с чужими событиями и судьбами из документальной истории, пали. То, что могло подвергнуться неизбежной обработке в мемуаристике, здесь предстало во всей своей шероховатости и во всей своей правдивости. Чернильная строка на пожелтевшей бумаге сомкнулась с раскопом воронежских поисковиков, в котором весной 2008 г. они обнаружили останки Лизюкова и семи неизвестных воинов.

Любое общение с Палиевским ощущалось как притяжение глубины и увлекало на заданную им эмоциональную волну, расцвеченную всеми оттенками живой сиюминутности. Некоторая категоричность Палиевского не мешала ему относиться к собеседнику как к равному, приглашая если и не оспорить позицию мэтра, то, вне сомнения, заявить и объяснить свою собственную. В моем случае всё было именно так. Да и могло ли быть иначе? На моих глазах происходило поучительное сцепление судьбы человеческой и литературы, в котором первенство жизни было неоспоримым.

Палиевского по-настоящему огорчало, что люди поддаются на «подброшенные» слова: «...например, подброшенный термин “элита”. А это специально подброшено. Это, во-первых, антихристианская идея, антикоммунистическая идея, антинародная идея, антирусская идея. Я впервые услышал это слово на совещании идеологическом, которое провел Горбачев. И он там распространил анкету, которую обещал опубликовать, где одним из первых пунктов стояло: “Как Вы определяете русскую элиту?” Я в ответе на это написал: “Глубоко чуждое русской культуре понятие”. И, наверное, не я один это написал. Ничего не опубликовали. И пошло: “элита”, “элита”, “элита”... По идее это перевертывание всего».

Моду на «идею самоидентификации» Палиевский высмеивал очень живо, иронично: «Что это такое? Это значит самого себя ограничить. ЗаклЮчить себя в систему национальных признаков. То есть самого себя поставить в клетку, которая не позволяет делать главный выход к тому общему, центральному, стволу, что пронизы-

вает все особенности и их ведет». Короткое наблюдение, предметное и конкретное, немедленно превращалось в теоретическое обобщение. Например — методологии чуждого Палиевскому структурализма, которая придерживается оппозиции «свой — чужой», вследствие чего моментально *«исчезает центральное, главное, что есть свое и чужое, которое есть ведущая сила»*. *«Сейчас занимаются самоидентификацией, выясняют, что такое “русскость”. Это что значит? — вопрошал Палиевский. — Самому себе на голову ведро надеть. Никаким определениям это не поддается»*.

Однако изысканная ирония и яркий образ ничуть не мешали Палиевскому настаивать, что теоретическая схоластика совсем не безобидна. Его принцип *«практические дела важнее теории»*, для Палиевского универсальный (*«я всегда и “по-ленински” так думал»*), учитывал серьезные риски, на которые ложный смысл обрекал живую жизнь. Время нынче страшно трудное, *«перетекательное»*, говорил Палиевский, находя соответствие ему в образе змеи: *«По скользкой линии идут: с одной стороны, как бы поддерживая национальное, а с другой стороны, национализм двумя руками работает, как и змея вообще. Змея, ведь она имеет возможности ползти в разные стороны с одной точки: туда и сюда. А на самом деле она своим путем идет»*.

Куда вел «змеиный путь» из 2016 г.? Мог ли вывести к благоденствию? Предложенный Палиевским образ делал сомнительной и тревожной перспективу такой дороги, хотя весь масштаб угрозы представлялся лично мне, прибывшему из спокойной, ухоженной Белоруссии, в дивном сочетании рассудочной оценки и интуитивного беспокойства, все больше владевшего мной.

Мысль и сердце Палиевского еще не раз позволят мне ощутить себя именно на **дороге**, которая станет лейтмотивом наших бесед и переписки, настораживая и его, и меня возникающим перепутьем, как это случилось с мальчиком в германской неволе, который, очутившись на чужбине, первым делом был поражен надписью на дорогах: «Privatweg». Частная дорога... *«Как может быть дорога... частной? — вспоминал свое детское изумление Палиевский. — Допустим, дом... Но дорога, которая специально создана для того, чтобы общаться, быть для всех людей!.. Почему она должна быть частной?»*

Жизнь формировала убеждения Палиевского, его художественную позицию, его научное мировоззрение. Про англичан он — блестящий

знаток англо-американской культуры — все понял не из книг, а в английской зоне оккупации, из которой семье Палиевских пришлось бежать в 1946 г., чтобы не быть угнанной обманым путем в Австралию. А первым «эстетическим» впечатлением Палиевского в самой Англии 1973 г. стал шекспировский Макбет в облике комиссара: в галифе и по локоть в крови. И все же воспоминания о войне, не написанные Палиевским, присутствовали в его образе мира и литературы лишь «*по поводу*», который должен быть столь значительным, что факты возможно понять «*только личным опытом*» (отчасти, «робко», по его признанию, это сделано в работе «Документ в современной литературе»).

И такой повод еще в 2016 г. Палиевский увидел в Белоруссии, хотя наверняка и раньше проблема «белорусскости» вызывала у него серьезные опасения. Легендарный визит теоретиков ИМЛИ в Академию наук Белоруссии в 1970 г. памятен в здешних академических кругах до сих пор, а в перестроечную пору и вовсе был частью самого злободневного идейного ландшафта. Достаточно вспомнить жаркую «огоньковскую» полемику Алеся Адамовича [Адамович: 3] и Вадима Кожина [Кожин: 28].

Поначалу мне было трудно разделить тревоги Палиевского относительно белорусского будущего. Душа противилась его доводам и напору, а он (я это чувствовал) присматривался ко мне. Мое ощущение не было случайным. Ознакомившись позднее с одной из моих книг [Афанасьев 2016], Палиевский критически отнесся к некоторым именам, писательским репутациям и высказал мне это без обиняков. Не пытаясь переубедить Палиевского, я лишь объяснил ему свою позицию: почему выбраны эти имена, почему звучат эти произведения и в чем замысел книги. Но каким удивительным и драматическим, подчас даже трагическим образом все, тяготившее Палиевского предчувствием беды, обрело жестокую логику исторического события в августовские дни 2020 г. в Белоруссии! Как выяснилось годы спустя, ускользавшая от меня линия горизонта, дотянуться до которой из 2016 г. казалось невозможным, покорила Палиевскому уже тогда. Под его пронизательным взором литература не только обнаружила себя Предтечей событий, но и в реальности уготовила усекновение Головы.

Вообще Палиевский говорил о том, что судьба часто приближала его к событиям и людям «*ключевым*», чтобы, по его выражению, «*впитать*» этот опыт и «*учесть в дальнейшем, головой, что это означает*». И вспоминал, как его семью в 1943 г. отправляли на чужбину, в рабство.

Этот путь лежал через Минск, где Палиевские оказались на следующий день после ликвидации белорусскими подпольщиками Вильгельма Кубе — так называемого «гауляйтера Белоруссии», возглавлявшего оккупационную немецкую администрацию. Палиевский своими глазами видел разгул репрессий в Минске, остервенение оккупантов, которые вымещали злость на совершенно случайных людях. Лагерь с угнанными в Германию размещался недалеко от Академии наук, что, по ироничному замечанию Палиевского, сформировало у него «*провиденциальную в этом смысле связь*».

Все пережитое Белоруссией интересовало Палиевского не из праздного любопытства.

В 2016 г. Европа как будто распахнула свои объятия Белоруссии и готова была (как это виделось Палиевскому) заключить в них не только Сапегу, который «*брал Лавру — да не смог взять*», но взошел на современный белорусский пьедестал. В его тени Палиевский с тревогой угадывал силуэт минского культуртрегера времен оккупации, после бегства с немцами преуспевшего на Западе с книгой «Достоевскоеведение в СССР»¹. Размышляя над какими-то моментами моей книги, где о литературе говорилось в связи с национальным строительством и национальными катастрофами, Палиевский с присущей ему бескомпромиссностью откликнулся и на мое письмо, в котором я сравнил его прежние суждения о моем скромном сочинении с напутствием. «...*Я никак не мог, да и не вправе, “напутствовать” Вас “измениться”, — уведомлял меня Палиевский. — “У Вас своя дорога”, как пел старый романс, и она (на мой взгляд) очень верная. Другое дело, что она не Ваша и не моя и т.д. только личная, и тут многое еще, тоже на мой взгляд, необходимо досообразать*»².

¹ Палиевский имел в виду В. Седуро [Белов: 268] — организатора, вдохновителя и лидера белорусской коллаборантской прессы в оккупированном Минске, по знаковому совпадению — самозабвенного почитателя Льва Сапегу как олицетворения национальной государственности. Знаменитый белорусский поэт, партизан А. П. Астрейко, откликаясь статьей «Гнеўная памяць» на судебный процесс 1964 г. над фашистскими преступниками в Кобленце, мечтал увидеть Седуро «и прочую нечисть» на скамье подсудимых. См.: [Федеральный архивный проект...].

² Электронное письмо Палиевского от 1 февраля 2018 г. в личном архиве автора.

«Досообразать» приходится после потрясений в Белоруссии, после всего, что меняет на наших глазах облик мира. Для Палиевского отсчет исторических времен Белоруссии и России мог быть верным только на часах, которые... остановились в полночь. Хрестоматийный белорусский фильм о ликвидации Кубе («Часы остановились в полночь») на всю жизнь остался для Палиевского одним из любимых. Анатолий Адоскин в роли немецкого офицера приводил Палиевского в восторг: *«Это просто открытие! Когда он убеждает: “Я очень гараший мужик” и показывает, как чистить зубы, — это идеально совершенно сделанный немец. Не рычащий фашист, который режет, убивает, а вот какой основной немец!»* Однако при этом все равно враг, для Палиевского — коварней во сто крат.

Когда Палиевский говорил о том, что в оккупацию *«зернышки Кубе все-таки сработали»*, его заботил не только день вчерашний, в котором в лагерь приходили коллаборанты-вербовщики. Палиевский все-рез опасался, что новое время будет взращивать и культивировать ядовитые семена, снабдив их для этого средствами *«более объемными»*.

В этом смысле Палиевского очень интересовал случай Кубе, взорванного *«замечательно точно и не случайно»*. Он вспоминал свои смоленские военные годы, 30-километровую прифронтовую полосу, где части вермахта некоторое время демонстрировали симпатию к устройству местной жизни, пропитывая ее при этом бешеной антисоветской пропагандой. Такую подмену исторического смысла, в конце концов, грозившую народу гибелью, Палиевский рассматривал как угрозу чрезвычайную и не допускал, что от такой опасности избавил бы успех покушения на Гитлера (в июле 1944 г. — вслед за неудачным смоленским) полковника Штауффенберга, который на посту начальника штаба Резервной армии опекал изменника Власова.

Знакомство с Палиевским удивительно совпало с завершением моей работы над книгой «Судьба командарма Лизюкова: версии, мифы и правда», где речь шла и о генерале Власове, которому иные рьяные историки приписывают чудо под Москвой в декабре 1941 г. Я был вдохновлен тем, что удалось найти документы, которые окончательно опровергали унижительный и живучий миф. Впрочем, у этой истории была одна деликатная сторона, причудливым образом связавшая историю Великой Отечественной войны, литературу и... «Русский Букер».

Как известно, лауреатом «Русского Букера» за 1995 г. и «Букера десятилетия» (2001 г.) стал роман Георгия Владимова «Генерал и его армия», одним из важнейших персонажей которого является генерал Власов, увенчанный нимбом творца Московской победы. Литературные победы самого Владимова были очень дороги Льву Александровичу Аннинскому: и как взыскательному критику, председателю Букеровского жюри в один из сезонов, и как верному, сердечному другу писателя по жизни. В своей книге «Вещество литературы в эпоху катастроф: Война. Чернобыль. Человек», подаренной Аннинскому, мне уже довелось разбирать «казус Власова» и весьма критично переоценивать значение «Генерала и его армии», опираясь на новые, прежде не известные документы [Афанасьев 2016: 174–178, 218–223]. Наверное, можно было ожидать от Аннинского возражений и сугубо литературной аргументации в защиту романа, однако его отклик стал для меня примером благородной верности критика человеческой дружбе с Владимовым и настоящего служения литературе, которое истину ставит превыше всего. В размышлениях Аннинского о моей книге на страницах «Юности» одна его фраза сказала всё: «Дотошный историк» [Аннинский: 13].

Между тем обнаруженные мной документы однозначно утверждали исключительный вклад в спасение столицы Александра Лизюкова — заместителя Власова по должности в 20-й армии, но фактического командующего армией по сути, именно так и представленного во фронтовом донесении и в наградном листе к ордену Ленина за спасение Москвы. В первом случае начальник штаба 64-й стрелковой бригады майор Горбачев 3 декабря 1941 г. сообщал командиру танковой группы: «Командующий армией Герой Советского Союза полковник Лизюков приказал передать Вам...»¹. Во втором — сам Власов, представляя Лизюкова к ордену Ленина, определял действительную роль своего номинального заместителя: «Тов. Лизюков с 30.XI.41 г. по 1.I.42 г. все время руководил боевой деятельностью войск 20 Армии»².

Важнейшими в моей книге были и смоленские страницы, посвященные подвигу военного коменданта Соловьевой переправы Александра Лизюкова.

¹ Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). Ф. 1868. Оп. 1. Д. 1. Л. 15.

² ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Ед. хр. 6. Л. 3.

Через Соловьёву переправу на Днепре, получившую имя по названию поселка Соловьёво, летом 1941 г. осуществлялись снабжение сражавшихся под Смоленском 16-й и 20-й армий и отход отступавших вслед за частями Красной Армии мирных жителей. К началу августа Соловьёва переправа осталась единственной, по которой возможно было перемещение. В историю Великой Отечественной войны Соловьёва переправа вошла наряду со Ржевом как символ невиданного героизма, солдатского самопожертвования и немыслимой человеческой трагедии. Людские потери от чудовищных гитлеровских обстрелов, бомбежек и атак исчислялись на переправе десятками тысяч.

В этом бесконечном кошмаре Лизюков спас от уничтожения две наши окруженные армии. Он собирал штабы, принимал на себя командование, выводил личный состав через переправу на наш берег Днепра, туда, где нужно было создавать новый рубеж обороны Москвы¹. Лизюков прокладывал дорогу жизни одному из героев Смоленского сражения — командующему 16-й армией генерал-лейтенанту М. Ф. Лукину. За бои под Смоленском Лукин был удостоен ордена Красного Знамени [Указ... 29 июля]. Лизюкову одному из первых в начальный период войны в августе 1941 г. было присвоено звание Героя Советского Союза [Указ... 6 августа].

Смоленская история накладывала на меня серьезные моральные обязательства перед Палиевским, который признавался: *«Соловьёв перевоз² для меня и теперь живая жизнь, а то, что Вы подняли тех, кто сквозь него ее провел, — честь Вам и хвала. В пример всем, перед которыми поставлены новые “перевозы”»*³. В 1941 г. Петр Васильевич своими глазами видел ад переправы: *«Соловьёв перевоз. Ведь мы бежали из города на лошади, которую дали отцу. Он был крупный деятель в это время, руководитель треста “Смолстрой”. Мы подъехали к этому Соловьёву перевозу. Вы знаете, это что-то было чудовищное! Дело в том, что пропускали только военных в основном, потому что они*

¹ Свидетельства о фронтовой обстановке на Соловьёвой переправе сохранились в стенограмме беседы участника событий, секретаря Смоленского обкома ВКП (б) Д. М. Попова с комиссией по истории Великой Отечественной войны АН СССР (15 декабря 1943 г.). Подробнее см.: [Афанасьев 2018: 25].

² Так Палиевский называл Соловьёву переправу.

³ Электронное письмо Палиевского от 14 ноября 2016 г. в личном архиве автора.

должны были выйти из окружения. Мы издалека это видели. А эти самые “штукас” — “Юнкерс-87”, пикирующие бомбардировщики, делали из этого кровавую баню, из людей, пытавшихся перебраться... Героические защитники этого Соловьева перевоза сделали все все-таки, чтоб вывести. Но некоторые остались. Люди нам говорили (я этого лично не видел): Днепр красный был от крови. Красная река текла».

Когда моя книга вышла, я подарил ее Палиевскому и с особым волнением ждал вердикта. Оценка предыдущей моей монографии не обещала поправки. И Палиевский остался верен себе, но как! *«В вашей книге видно, как вы идете: от некоторого рода либерального представления об эпохе — к правильному представлению, — чеканил Палиевский. — Так что я говорю: книга о Лизюкове — она совершенно безупречна и в этом смысле даже несколько противостоит как некоторого рода развившийся этап всей вашей деятельности».* Щедрость похвалы Палиевского окрыляла: *«Книжка о Лизюкове, я считаю, у вас просто выдающаяся. По-моему, даже лучшее, что вы в последнее время написали. Для меня это просто чуть ли не святой материал».*

Наверное, Палиевского радовал путь, общая дорога, которая уже не могла быть только «моей». Что давало ему такую уверенность? Знание жизни? Литературы? Или ответ в том, что явленная Палиевским орбита даже не интересов научных, а мысли человеческой, объемлющей все в этом мире в его целостности и в его противоречивости, как раз и отвечает тем великим заветам русской классики, которые он усвоил, вероятно, лучше кого бы то ни было. Для Палиевского в литературе уже отражалось будущее, к которому мы должны стремиться.

После выхода в 2018 г. Указа Президента России В. В. Путина о посмертном награждении Лизюкова полководческим орденом Жукова «за умелую организацию боевых действий войск в ходе стратегических операций Великой Отечественной войны в 1941–1942 годах» [Указ Президента], Палиевский, зная о том, что мною было подготовлено документальное обоснование награждения, и радуясь от души результату, немедленно ставил новую задачу: *«Чтобы это был не просто акт личного признания, а значение этого факта. Значение вашего факта, к которому вы пришли как к мировоззрению такому уже серьезнейшему».* И заключал: *«Действительно, жизнь выше литературы, а, с другой стороны, она переходит в литературу. Это сильно уже прозвучало бы: и в диссертации, и дальше».*

«Дальше», к несчастью, была кончина Палиевского в октябре 2019 г. И белорусская смута августа 2020 г. Моя дорога в ней сложилась словно по предсказанию Палиевского. В тревожные белорусские дни мне с отцом по собственной инициативе пришлось разработать проект и сценарий «Железного марша гомсельмашевской техники». Могучая поступь мощной мирной техники и трудовых людей по центральным городским улицам на пике мятежного августа сбила накал противостояния в Гомеле, что признали те, кто тогда был по разные стороны белорусских баррикад. «Стволовое» (по Палиевскому), которое есть «свое и чужое», победило. До сих пор потребность поделиться этим с Палиевским необычайно велика. Убежден, ничуть не колеблясь: и для Палиевского такой разговор был бы важен. Впрочем, даже отчасти начат — его словами по поводу книги: *«Пожелание: героическое начало, то есть преодолевающее, что в Лизюкове есть, а не, извините, всякие тяжелые уроки, жертвы страшные и невосполнимые, трагедии и так далее».*

Кто усомнится в необходимости Палиевского в наши времена, которым надлежит стать героическими, чтобы не стать последними? На Соловьёвом перевозе...

Список литературы

Источники

Адамович А. Как прореживать «морковку». Открытое письмо Вадиму Кожину-ву // Огонек. 1989. № 35. С. 3.

Катуков М. Е. На острие главного удара. М.: Воениздат, 1974. 429 с.

Кожин В. Плод раздраженной фантазии. Ответное письмо Алесю Адамовичу // Огонек. 1989. № 41. С. 28.

Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. URL: <https://victims.rusarchives.ru/ap-astreyko-gneunaya-pamyac-statya-o-sude-nad-fashistskimi-prestupnikami-v-koblence> (дата обращения: 01.03.2022).

Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2018 г. № 72 «О награждении орденом Жукова Лизюкова А. И.» // Президент Российской Федерации: официальный сайт. 2018. 15 февраля. URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/42817> (дата обращения: 01.08.2022).

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1941 г. «О награждении орденом Красного Знамени генерал-лейтенанта Курочкина П. А., корпусного комиссара Семеновского Ф. А., генерал-лейтенанта Лукина М. Ф., дивизионного комиссара Лобачева А. А. // Известия. 1941. 29 июля.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 1941 г. «О присвоении звания Героя Советского Союза полковнику Лизюкову А. И.» // Известия. 1941. 6 августа.

Исследования

Аннинский Лев. Черно-быле-осознание: Заметки неисторика. Продолжение // Юность. 2017. № 11. С. 13–15.

Афанасьев И. Н. Вещество литературы в эпоху катастроф: Война. Чернобыль. Человек. Гомель: Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины, 2016. 336 с.

Афанасьев И. Н. Судьба командарма Лизюкова: версии, мифы и правда. М.: Вече, 2018. 320 с.

Белов С. В. Материалы для библиографии русской зарубежной литературы о Достоевском (1920–1971) // Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. URL: http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/Dostoevsky/Materialy/%D0%A2_10/23_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2_255.pdf (дата обращения: 01.08.2022).

Палиевский П. В. Литература и теория. М.: Сов. Россия, 1979. 288 с.

References

Anninskii, L. “Cherno-byle-osoznanie: Chitaia Ivana Afanas’eva” [“Chernobyl-awareness: Reading Ivan Afanasiev”]. *Iunost’*, no. 11, 2017, pp. 13–15. (In Russ.)

Afanas’ev, I. N. *Veshchestvo literatury v epokhu katastrof: Voina. Chernobyl’. Chelovek* [The Substance of Literature in the Age of Catastrophes: War. Chernobyl. Human]. Gomel, Francisk Skorina Gomel State University Publ., 2016. 336 p. (In Russ.)

Afanas'ev, I. N. *Sud'ba komandarma Liziukova: versii, mify i Pravda* [The Fate of Commander Lizyukov: Versions, Myths and Truth]. Moscow, Veche Publ., 2018. 320 p. (In Russ.)

Belov, S. V. "Materialy dlia bibliografii russkoi zarubezhnoi literatury o Dostoevskom (1920–1971)" ["Materials for the Bibliography of Russian Foreign Literature on Dostoevsky (1920–1971)"]. *Elektronnye publikatsii Instituta russkoi literatury (Pushkinskogo Doma) RAN* [Electronic Publications of the Institute of Russian Literature (Pushkin House) RAS]. Available at: http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/Dostoevsky/Materialy/%D0%A2_10/23_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2_255.pdf (Accessed 01 August 2022). (In Russ.)

Palievskii, P. V. *Literatura i teoriia* [Literature and Theory]. Moscow, Sovetskaia Rossiia Publ., 1979. 288 p. (In Russ.)

© 2023. Г. Н. Ковалева

Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук
г. Москва, Россия

П. В. Палиевский — мой первый читатель

Аннотация: Статья посвящена воспоминаниям о роли П. В. Палиевского в подготовке ее автором незавершенного романа Л. Н. Толстого из времени Петра I для Полного собрания сочинений писателя. Сопоставляется эпизод о князе В. В. Голицыне из незавершенного романа Л. Н. Толстого с аналогичным по содержанию эпизодом из романа А. Н. Толстого «Петр Первый». Выявленные соответствия и параллели между двумя эпизодами дают все основания сделать вывод: эпизод о князе В. В. Голицыне из произведения Л. Н. Толстого является литературным источником эпизода из романа А. Н. Толстого. Установлен источник знакомства А. Н. Толстого с черновыми фрагментами произведения его предшественника — их публикация, осуществленная в 1925 г. Т. И. Полнером в одном из эмигрантских изданий в Праге. Отмечается роль в этой находке П. В. Палиевского, предложившего автору статьи заняться поисками точек сближения между романами двух Толстых о первом русском императоре и его времени.

Ключевые слова: П. В. Палиевский, Л. Н. Толстой, А. Н. Толстой, Петр I, Т. И. Полнер, художественный эпизод.

Информация об авторе: Галина Николаевна Ковалева — старший научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25 а, 121069 г. Москва, Россия.

E-mail: galina-gnk@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 01.03.2023

Дата одобрения статьи рецензентами: 23.04.2023

Дата публикации статьи: 25.06.2023

Для цитирования: Ковалева Г. Н. П. В. Палиевский — мой первый читатель // Два века русской классики. 2023. Т. 5, № 2. С. 198–205.
<https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-198-205>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 198–205. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 5, no. 2, 2023, pp. 198–205. ISSN 2686-7494

In Memoriam

© 2023. Galina N. Kovaleva
A. M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia

P. V. Palievsky as My First Reader

Abstract: The article is devoted to memories of P. V. Palievsky's role in the preparation by its author of the unfinished novel by L. N. Tolstoy from Peter the Great's era for the Complete works of the writer. Comparison of the episode about Prince V. V. Golitsyn from L. N. Tolstoy's unfinished novel with an episode of the same content from A. N. Tolstoy's novel "Peter the Great" reveals correspondences and parallels between the two episodes. It gives every reason to conclude that the episode about Prince V. V. Golitsyn from L. N. Tolstoy's work is a literary source of an episode from A. N. Tolstoy's novel. The article establishes the source of A. N. Tolstoy's acquaintance with the rough fragments of his predecessor's work, that is their publication, carried out in 1925 by T. I. Polner in one of the emigrant publications in Prague. The role of P. V. Palievsky in this discovery lies primarily in the proposal to the author of the article to search for points of convergence between the novels of the two Tolstoyes about the first Russian emperor and his time.

Keywords: P. V. Palievsky, L. N. Tolstoy, A. N. Tolstoy, Peter I, T. I. Polner, artistic episode.

Information about the author: Galina N. Kovaleva, Senior Researcher, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25 a, 121069 Moscow, Russia.

E-mail: galina-gnk@mail.ru

Received: March 01, 2023

Approved after reviewing: April 23, 2023

Published: June 25, 2023

For citation: Kovaleva, G. N. "P. V. Palievsky as My First Reader." *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 198–205. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-198-205>

В Толстовскую группу Петр Васильевич пришел в самом конце 1990-х или начале 2000-х гг., вошел в редколлегию академического издания сочинений Л. Н. Толстого, стал ответственным редактором 9-го тома, куда были включены незавершенные произведения 1863–1884 гг., стал первым читателем комментариев к этим произведениям, которые писали составители тома.

Вот только один эпизод нашей совместной с Петром Васильевичем работы в Толстовской группе. Весной 2010 г., когда все члены группы готовились к Весенним Толстовским чтениям, Петр Васильевич стал настоятельно рекомендовать мне перечитать роман А. Н. Толстого «Петр Первый» и сопоставить его с фрагментами незавершенного романа Л. Н. Толстого из времени Петра I в целях возможного выявления точек соприкосновения между двумя романами. Поясню, что поводом для этой рекомендации стала подготовка мной незавершенного романа Л. Н. Толстого о Петре I и его времени для Полного академического собрания сочинений Л. Н. Толстого. Обнаружив в результате повторного чтения в романе «Петр Первый» А. Н. Толстого эпизод с князем В. В. Голицыным, показавшийся мне очень схожим по содержанию с эпизодом о князе В. В. Голицыне из незавершенного романа Л. Н. Толстого, я обратилась к изучению исследовательской литературы, чтобы выяснить, отмечалось ли когда-нибудь замеченное мной сходство произведений двух Толстых. Выяснилось, что в работах А. В. Алпатова [Алпатов] и Л. М. Поляк [Поляк] отмечались точки схождения между двумя романами о Петре I. А. В. Алпатов, например, выявил «параллели, сходные по материалу исторические эпизоды и сцены у Льва Толстого и Алексея Толстого» [Алпатов: 24]. Л. М. Поляк, в свою очередь, отметила сходство между произведениями двух Толстых «не только по тематике, но и по конкретности исторической обстановки, исторических деталей, бытовых мелочей, передающих самый воздух эпохи...» [Поляк: 13]. Сходство между двумя произведениями ученые объясни-

ли тем, что оба писателя пользовались общими историческими источниками: сочинениями С. М. Соловьева, Н. Г. Устрялова, И. Е. Забелина и многими другими. Возможное влияние художественных «начал» «петровского» романа Л. Н. Толстого на роман А. Н. Толстого «Петр Первый» ученые отвергали на том основании, что фрагменты незавершенного романа Л. Н. Толстого увидели свет лишь в 1936 г., уже после создания А. Н. Толстым первых двух книг романа о Петре Первом. Сам Алексей Толстой в личной беседе с Алпатовым утверждал, что «фрагменты романа Л. Толстого из эпохи Петра I непосредственное влияние вряд ли могли оказать» [Воспоминания: 31].

Когда я сообщила Петру Васильевичу о первых итогах своих разысканий, он сказал: «Ищите, Галя, ищите. У Фолкнер тоже отрицал влияние на свое творчество Д. Джойса, а М. Митчелл — Л. Толстого. Однако исследователям удалось доказать, что в том и другом случаях влияние все-таки было».

Продолжив поиски, я обнаружила, что в конце 1925 г. в одном из эмигрантских изданий, вышедших в Праге, точнее, в историко-литературном сборнике «На чужой стороне», в XII-ом его выпуске, были напечатаны 18 художественных фрагментов незавершенного романа Л. Н. Толстого о Петре I под условным названием «Главы романа о Петре» [Толстой Л. Н. 1925: 15–57]. Среди так называемых «глав» были опубликованы три фрагмента о князе В. В. Голицыне (1643–1714), фактическом главе правительства в годы регентства царевны Софьи в 1682–1689 гг., связанном с царевной не только политическим, но и, по словам С. М. Соловьева, «сердечным союзом» [Соловьев: 336]. Прямых подтверждений знакомства А. Н. Толстого с этой публикацией, осуществленной критиком, издателем, мемуаристом Т. И. Полнером (1864–1935), в эпистолярных и мемуарных источниках я не нашла. Решив поискать следы этого знакомства в тексте романа «Петр Первый», я сопоставила эпизоды о князе В. В. Голицыне из двух произведений. Приведем их тексты:

Лев Николаевич Толстой. Главы романа о Петре:

«Он сидел за столом и думал. <...> Но, как это бывает с человеком в несчастье, он возвращался к своему прошедшему и искал в нем того, в чем упрекнуть себя, и, как у всякого человека, особенно правителя, — было много дел, за которые и церковь, и суд, и молва могли осудить его, — и казнь Самойловича, и казни других, и казна присвоенная — он

не замечал этих дел. Одно было, что заставляло его вскакивать, старика, ударять жилистой рукой по золотному столу: это было воспоминание о толстой, короткой, старой женщине, румяненной, беленой, с черными сурмленными бровями, злым и чувственным видом и с волосами на усах и бородавкой под двойным подбородком. Если б этого не было! Ах, если б этого не было! — говорил он себе» [Толстой Л. Н. 1925: 22].

Алексей Николаевич Толстой. «Петр Первый».

«Василий Васильевич сидел перед свечой, сжав голову. <...> Огромный дом был тих, мертв. <...> Живы были лишь сожаления, раздиравшие Василия Васильевича. Не мог понять, почему так все случилось? Кто виноват в сем? Ах Софья, Софья!.. Теперь он не скрывался от себя, — из запретных тайников вставало тяжелое, нелюбимое лицо неприкрашенной женщины, жадной любовницы, — властная, грубая, страшная... Лицо его славы!

Что он скажет Петру, что ответит врагам? <...> Сорвав с затылка кулаки, он ударил по столу...» [Толстой А. Н.: 199–200].

Совпадение содержания двух приведенных эпизодов очевидно. Бесспорную связь между ними определяют следующие соответствия и параллели. Во-первых, в обоих эпизодах герой изображен в кризисный для него момент потери власти и былого могущества. Во-вторых, в том и другом случаях Голицын находится в своем доме, сидит за столом и обдумывает сложившееся положение. В-третьих, мысли Голицына в обоих эпизодах заняты мучительными поисками причин и возможных виновников случившегося с ним несчастья. В-четвертых, и в одном, и в другом эпизодах виновницей краха политической карьеры и личной судьбы князя Василия Голицына объявляется царевна Софья (у Л. Н. Толстого она не названа по имени, но легко угадывается). В-пятых, в обоих эпизодах портрет Софьи — несмотря на различия в деталях — предстает перед читателем в нелестных, грубых, даже «оскорбительных» характеристиках, подчеркивающих ее природные недостатки. В-шестых, в обоих эпизодах воспоминание о Софье вызывает у Голицына досаду, сожаление, гнев. И в одном, и в другом эпизодах герой в целях ослабления сильного внутреннего напряжения, охватывающего его при воспоминании о царевне Софье, ударяет кулаком по столу.

Примеры рассмотренных нами соответствий не только подтверждают связь между эпизодами о князе Василии Голицыне из романов

о Петре I двух Толстых, но и со всей очевидностью доказывают факт знакомства А. Н. Толстого с публикацией Т. И. Полнера. Доказанный нами факт этого знакомства дает все основания считать эпизод о князе В. В. Голицыне из незавершенного «петровского» романа Л. Н. Толстого литературным источником эпизода о князе Голицыне из романа А. Н. Толстого «Петр Первый». Аналогичный вывод можно сделать и относительно реплики царевны Софьи из романа А. Н. Толстого, упрекавшей царицу Наталью Кирилловну в низком происхождении и крайней нищете до замужества, и относительно слов стрельца Никиты Гладкого о царице Наталье Кирилловне, а также сцены допроса и пытки главы Стрелецкого приказа Федора Шакловитого в Троице-Сергиевом монастыре.

Петра Васильевича очень порадовали результаты моих разысканий, он даже упомянул о них во вступительной статье к 9-му тому Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, отметив, что «разработки характеров романа о Петре Л. Н. Толстого помогли становлению романа А. Н. Толстого “Петр I”» [Палиевский: 296].

Вот таким щедрым на идеи, которые он с удовольствием дарил своим коллегам, был Петр Васильевич Палиевский — филолог милостью Божьей, талантливый исследователь творчества А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, М. А. Шолохова, ученый с мировым именем, чуткий, внимательный и заботливый друг, наставник, учитель, коллега. Как же не хватает сегодня Петра Васильевича: его быстрого ума, схватывающего любую проблему на лету, его уникальных аналитических способностей, его мудрости...

Список литературы

Источники

Воспоминания об А. Н. Толстом. Сборник / сост. З. А. Никитина и Л. И. Толстая. М.: Сов. писатель, 1982. 495 с.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен: в 29 т. М.: Университетская тип., 1863. Т. 13. 412 с.

Толстой А. [Н.]. Петр Первый. Роман. Л.: Прибой, 1930. 387 с.

Толстой Л. Н. Главы романа о Петре // На чужой стороне: Историко-литературный сборник. Прага: Пламя, 1925. Вып. XII. С. 15–57.

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч: в 100 т. М.: Наука, 2014. Т. 9: Художественные произведения. 776 с.

Исследования

Алпатов А. В. О некоторых особенностях работы Л. Н. Толстого и А. Н. Толстого над историческими образами петровской эпохи // Вестник Московского университета. 1957. № 1. С. 15–24.

Палиевский П. В. Произведения 1863–1884 гг. // *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: в 100 т. М.: Наука, 2014. Т. 9: Художественные произведения. С. 293–296.

Поляк Л. Д. Петр Первый в творчестве Льва Толстого и Алексея Толстого // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1964. Т. XXIII. Вып. 1. Январь–февраль. С. 3–17.

References

Alpatov, A. V. “O nekotorykh osobennostiakh raboty L. N. Tolstogo i A. N. Tolstogo nad istoricheskimi obrazami petrovskoi epokhi” [“On Some Features of L. N. Tolstoy and A. N. Tolstoy’s Work on the Historical Images of the Petrine Era”]. *Vestnik Moskovskogo universiteta*, no. 1, 1957, pp. 15–24. (In Russ.)

Palievskii, P. V. “Proizvedeniia 1863–1884 gg.” [“Works of 1863–1884”]. Tolstoi, L. N. *Polnoe sobranie sochinenii: v 100 t.* [Complete Works: in 100 vols.], vol. 9: Khudozhestvennyye proizvedeniia [Fiction]. Moscow, Nauka Publ., 2014, pp. 293–296. (In Russ.)

Poliak, L. D. “Petr Pervyi v tvorchestve Lva Tolstogo i Alekseia Tolstogo” [“Peter the Great in the Works of Leo Tolstoy and Alexei Tolstoy”]. *Izvestiia Akademii nauk SSSR. Seriia literatury i iazyka*, vol. XXIII, issue 1, 1964, January–February, pp. 3–17. (In Russ.)

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

Научный журнал
Два века русской классики / Two centuries of the Russian classics



2023 — Т. 5 — № 2

Учредитель и издатель
Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук

Главный редактор

Щербакова Марина Ивановна
доктор филологических наук, профессор,
заведующая научно-исследовательским центром
«Русская литература и христианская традиция» ИМЛИ РАН

Дизайн обложки и макет журнала **Компьютерная верстка**
Д. К. Бернштейн А. З. Бернштейн

Корректор

В. Г. Андреева

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации: ПИ № Эл 77-76366 от 02.08.2019 г.

Адрес учредителя, редакции и издателя:

121069, Москва, ул. Поварская, 25а

Тел.: (495)690-50-30

E-mail: journal_ork@mail.ru

Сайт журнала: www.rusklassika.ru

Дата размещения сетевого издания в сети Интернет
на официальном сайте <http://rusklassika.ru> 25.06.2023 г.

При перепечатке ссылка обязательна

16+

Ученым
мировой инте-
ранульви
им.

А.М. Топького
РАИ
Москва